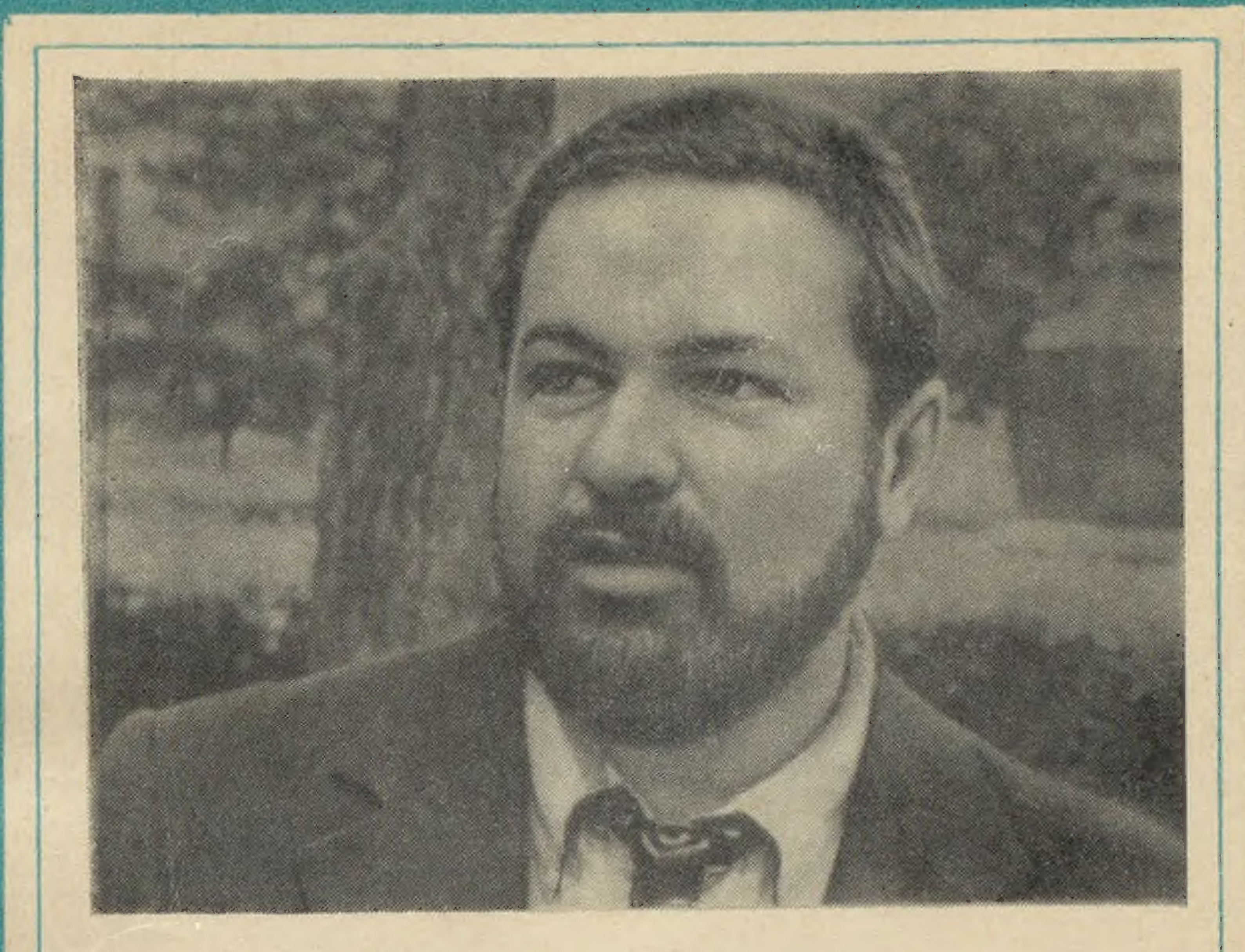
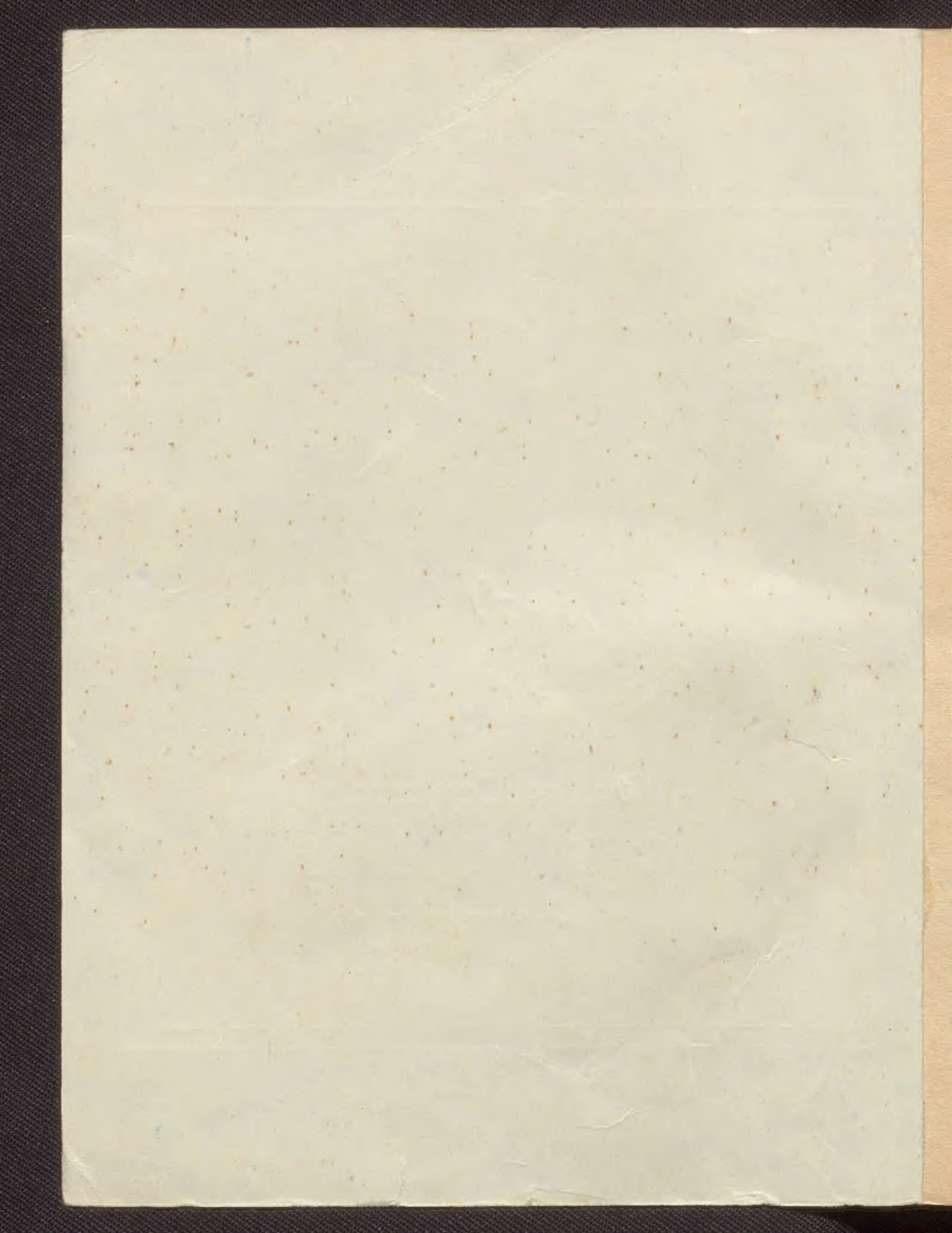
Писатель и время



Юлиан Семенов

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ФИЕСТУ



Юлиан Семенов

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ФИЕСТУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» МОСКВА — 1975

338
С30

Юлиан Семенов — автор романов о замечательном советском разведчике Максиме Максимовиче Исаеве — Штирлице, повестей «Петровка-38» и «Огарева-6», в книге «Возвращение в фиесту» продолжает поиск новой формы политической прозы, основанной на документах и личных встречах. Писатель, неоднократно побывавший в Мадриде и Малаге, Барселоне и Валенсии, Памплоне и Сарагосе, рассказывает о современной Испании, ее сложных социальных, экономических и политических проблемах, правдиво описывает обычаи и нравы испанского народа, знакомит с местами, где некогда бывал Хемингуэй. В книгу включены также очерк «Верона, или Возвращение в Текстильщики» и новелла «Папа, прости меня, пожалуйста», посвященная людям того поколения, которое первое — в далеком тридцать шестом, когда стервятники Гитлера и Муссолини бомбили Гернику и Мадрид — вступило в схватку с фашизмом.

$С \frac{70302—100}{М—105(03)75}$ БЗ—18—1975—23

САН-ФЕРМИН

От Сан-Себастьяна до Памплоны — два часа хорошей езды по ввинченной в горы дороге, но мы ехали вот уже четвертый час, то и дело скрипуче утыкаясь носом «Волги» (первой здесь за Пиренеями) в роскошные бамперы «доджей», «шевроле» и «пежо» — казалось, вся Европа отправилась на фиесту.

Мы приехали наконец в город, полный тревожно-радостного ожидания, расцвеченный гроздьями не зажженной еще иллюминации, запруженный толпами туристов; прошли сквозь тысячи кричащих и пьющих; у лотков с сувенирами купили себе красные береты, красные пояса и красные платочки на шею; сели за столик бара «Чокко», и Дуня сказала тихо:

— Как будто ничего раньше и не было.

— Ну, все-таки кое-что было,— возразил я.— Были бременские музыканты и стертые деревянные ступени лондонского порта, и Латинский квартал, и был Бальзак в парижском музее Родена, и критский кабачок на Рю Муфтар, и дорога на Биариц была, и, конечно же, был Сан-Себастьян.

— Сан-Себастьян был,— согласилась Дуня,— особенно белые мачты в порту, красные шхуны и толстая официантка, которая принесла нам тинто и жареные креветки, изумляясь тому, что мы — советские, и открыто радуясь этому, а в музее Родена все же была Женщина, а не Бальзак.

— Бальзак тоже был. Только Роден смог понять гений Бальзака. Вспомни эту скульптуру: надменность — если смотреть фас, скорбная усмешка — полуфас и маска, снятая с покойника,— профиль: такое дается только

один раз, когда человеческие ипостаси соединяются воедино.

— Нет,— сказала Дунечка,— Бальзак мне не понравился. Мне зато очень понравилась роденовская женщина.

Я вспомнил эту работу; многообразие округлостей рождает ощущение обреченной нежности, беззащитности и предтечи горя, которое рождает счастье...

— Чем тебе понравилась женщина? — спросил я.

Дуня пожала плечами:

— Зачем объяснять очевидное?

— А чем тебе не понравился Бальзак?

— Не знаю... Просто не понравился...

Поколение шестнадцатилетних — категорично, и за это нельзя их осуждать, ибо постыдно осуждать открытость. Надо гордиться тем, что наши дети таковы,— жестокость, заложенная порой в категоричности, пройдет, когда у наших детей родятся наши внуки,— открытость должна остаться. То, что мы не можем принять в детях, кажется нам слишком прямой, а потому жесткой линией, но ведь на самом-то деле прямых линий нет, они суть отрезок громадной окружности, начатой нашими далекими праотцами; поколения последующие должны закольцевать категоричность прямых в законченность, которой только и может считаться мягкая замкнутость круга, «ибо род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

— Не понравился, так не понравился,— сказал я, хотя сказать я хотел другое, но я видел круглые Дунечкины глаза, в которых отражались беленькие человечки в красных беретах, с красными платками на шеях, подпоясанные красными поясами, с громадными понизями чеснока, которые свешивались на грудь, словно королевские украшения, а потом все эти человечки в белых костюмах исчезли, и в глазах Дунечки вспыхнули сине-

зелено-красные огни фейерверка, грохнули барабаны, высоко и счастливо заныли дудки и загрохотала стотысячная толпа на Пласа дель Кастильо — в Памплоне началась фиеста, праздник Сан-Фермина, тот, который знаменует восход солнца — откровение от Хемингуэя...

«Изменение» — слово занятное, и смысл его обнимает громадное количество оттенков, порой кардинально разностных. Меняется мода, меняется человек, меняется репертуар на Плас Пигаль, меняется климат, меняется сиделка у постели умирающего, меняется скатерть, меняется филателист, меняется страна, меняется Испания. Изменилась, например, одежда в Испании; если раньше каждый хотел быть грандом, то ныне миллионеры носят джинсы и кеды. Пришло это, правда, из Америки: молодые заокеанские туристы, словно ощущая некий комплекс вины за то богатство, которое хлынуло в Штаты после войны против нацизма и в дни боев под Гуэ и Пномпенем, обычно ходят в рванье, потные, со спальными мешками за спиной — ни дать ни взять герои Джека Лондона, первопроходцы, исповедующие не культ насилия, но культ доброй силы, которая обычно сопутствует узнаванию нового. И к этим американцам в Испании изменилось отношение — к ним сейчас относятся хорошо, совсем не так, как к тем, кто носит военную форму US ARMY, а их здесь много — и в Роте, под Кадисом, и в Торрехоне возле Мадрида...

Изменение в одежде — одна из многих граней «изменения» вообще.

Конкретный символ изменений в Испании — памятник Хемингуэю у входа на Пласа де Торос в Памплоне, сделанный моим другом Сангвино. Изменения порой угадываются не в декретах, газетных перепалках, болтовне в кулуарах министерств, в репрессиях или амнистиях — они могут быть замечены в том, что не имеет, казалось бы, прямого отношения к политике. Искусст-

во — с момента его возникновения — всегда было связано с политикой, ибо охота на мамонта нашла свое живописное отражение на стенах пещер, поскольку атака во имя пищи и тепла и есть вопрос политики в очищенном — от всего наносного — виде.

Поставить памятник человеку, написавшему «По ком звонит колокол» и «Пятую колонну», писателю, отдавшему сердце республиканской «Земле Испании», интернациональным бригадам и батальону Линкольна, где большинство бойцов были американскими коммунистами,— симптом, и симптом приметный. Те, которые сейчас имеют право запрещать,— разрешили, руководствуясь желанием «спустить пары» из бушующего котла, но ведь те, кто захотел поставить памятник и кто поставил его, и кто кладет к подножию гранитного республиканского писателя цветы, руководствовались другим, разве нет?

— Какое чудо, папа,— сказала Дунечка,— все-таки ничего раньше не было, все куда-то исчезло, только фиеста и осталась...

Город гудел изнутри как вулкан, который готов взорваться. И он взорвался, когда с Пласа дель Кастильо тысячи людей растеклись по улицам, сотрясая древние стены Памплоны песнями и грохочущими оркестрами.

— Ты читала «Фиесту»? — спросил я.

— Нет. Это плохо?

— Наоборот. Это хорошо.

— Почему?

— Потому что ты не можешь сравнивать Чудо со Словом.

— А разве Слово — не Чудо?

— Слово тоже Чудо, только Слово Хемингуэя было рождено Чудом Сан-Фермина.

— А я не разлюблю Хемингуэя, если после настоящей фиесты прочту его «Фиесту»?

— Нет,— ответил я и сразу же подумал о том, что ка-

тегоричности детей нельзя противопоставлять нашу категоричность: оружие взрослых — доказательность. Впрочем, в понятии «взрослость» заложена снисходительность, отпущенная тем чувством ответственности, которое рождает отцовство. Мы дали детям возможность максимально быстрого приобщения к знаниям — термин «акселерация» — мудреный термин, но если изложить его просто и понятно: «раннее умнение, параллельное раннему созреванию», тогда станет ясно, что мы живем сейчас в качественно новой эпохе, которая отнюдь не есть повторение эпохи «отцов и детей». Нетерпение, которое породило конфликт поколений в прошлом веке, сейчас присуще в равной мере и старцам, ибо Нильс Бор и Сергей Королев продолжали быть яростными нетерпеливцами до последнего дня своего, а ведь нетерпение — это главное, что определяет возрастную границу. Век электроники, космоса и пересадки сердца захватил в яростную круговерть «темпа знания» детей и отцов; порой отцов более, чем детей, ибо отец входит первым в зону опасного эксперимента: «отец» в данном случае понятие типическое.

— Я не знаю, как это все можно нарисовать,— сказала Дуня.— Я не могу себе представить, как это все можно передать на холсте.

Я был настроен продолжать осторожные отцовские сентенции, но пришли друзья, подхватили нас, закружили в танце, и мы влились в толпу, а она как лес (так, кажется, говорил Мигель Унамуно), она все ставит на свои места: мы перестали быть зрителями фиесты, а стали ее участниками, и не было в ту ночь ни одного человека в Памплоне, который бы просто глазел на процессии, сменявшие одна другую, на великанов, вышагивавших на ходулях, на транспаранты со смешными рисунками, на певцов — а им был каждый,— которые пели.

Переводить их песенку нельзя,— скорее не надо —

потому что детская незамысловатость слов, соединенная с музыкой, тоже незамысловатой, вкупе рождает постоянное ощущение праздника. Разъединение души (которой, конечно же, нет) с телом (которое — очевидная данность) символизирует смерть — тоже относимо к песенке фиесты, и если даже я приведу ноты этой песенки, все равно ничего не получится, потому что надо воочию увидеть, чтобы понять истинный смысл народного праздника.

— Нас как по реке несет,— сказала Дунечка,— словно на быстрину попали.

И точно, нас несло по узкой горловине улицы, освещенной яркими огнями иллюминации, несло так, что каждый мог ощутить *невозможность*, но сейчас в этой невозможности вырваться из потной, устремленной в никуда, песенной и танцующей толпы не было страха, который обычно сопутствует тому моменту, когда ты ощутил, что не *можешь*.

Наверное, в Кетчуме, в ночь, когда Старик собрал свое ружье и вытер большой сухой ладонью те два патрона, которые подвели черту, он думал о разностях *невозможного*: когда в Памплоне нельзя прервать праздник, выйти из него, спрятаться, отделить себя от сотен тысяч людей в белых костюмах, закапанных красным вином, и когда нет сил *продолжать* праздник, если ты наедине со столом и перед тобой чистый лист бумаги, а ты не можешь писать или чувствуешь, что пишешь не то и не так,— это ощущение невозможного рождает трагедию, дописать которую могут люди большого мужества, как Хемингуэй. Остальные *цепляются* за настоящее или насилуют бумагу, и теряют свое прошлое, а нет ничего страшнее потери прошлого — это как предательство, а ведь предают целые поколения, которые воспитывались на тех образах и идеях, которые создал художник в пору своего расцвета.

...Ту первую ночь и все другие ночи Сан-Фермина я старался найти те места, где бывал Старик. Я это делал в Париже, и здесь, в Памплоне, я делал это же, оттого что Хемингуэй, открывший нам новые миры, сыграл в жизни моего поколения такую же роль, как в его жизни сыграли Тургенев, Толстой и Достоевский.

Мы пришли с Дунечкой и со скульптором Сангвино в «Каса Марсельяно», что возле крытого «Меркадо», совсем неподалеку от корраля, где «торо» затаились перед завтрашней корридой, и оказались в такой густой, кричащей, поющей и пьющей толчее, что нам пришлось взяться за руки, чтобы не потерять друг друга. Старик всегда приходил сюда и ел жаркое из бычьих хвостов, совсем не похожее на аккуратный немецкий суп — сытное, до краев, испанское, а потому — очень похожее на русское, хотя такого блюда у нас нет, но и у нас и у них — всегда до краев, а то и через край — от всего сердца, даже если это «до краев» — последнее, что есть в твоем доме...

«Каса Марсельяно» — маленький, двухэтажный ресторанчик. Он пустует все двенадцать месяцев, как, впрочем, и Памплона (я был там прошлой осенью — глухая, тихая, безлюдная провинция, неужели это — столица Сан-Фермина?!), но в дни фиесты — это храм Братства, церковь Искренности, клуб Товарищества.

В углу, возле камина, сидел Луис Гандика, «ганадеро» из Венесуэлы, с матадором Тино. Гандика подписывает с Тино контракт: профессия «ганадеро» подобна импрессарио, только в отличие от тех, обычных, он подписывает контракт на смерть и пьет при этом красное вино, и аппетитно ест мясо, и аккуратно снижает цену за выступление, хотя его Пласа де Торос — вторая в мире по величине после мексиканской: сорок тысяч зрителей. Гандика жаловался на рост дороговизны — и в Испании и во всем мире, сетовал на ТВ, которое уби-

вает корриду, бранил власти — в аккуратной и тактичной манере миллионера, которому позволено непозволенное, а Тино сидел отрешенно, словно бы присматриваясь к своему одиночеству среди этой веселой и пьяной, жестокой и нежной толпы санферминцев. Крестьянское лицо Тино малоподвижно, живут только круглые, как у Дунечки, глаза. Все движение собрано, завязано в жгут фигуры: широкие, словно крылья селезня, плечи, балеринья талия, сильные, хотя и очень тонкие, ноги.

Мы вышли из «Каса Марсельяно» и двинулись по калье Эстафета, где завтра, нет, не завтра, а сегодня (ведь уже четыре часа утра), ровно в восемь, когда грохнет пушка, побегут люди (их называют «афисионадо») по деревянному корралю, ограждающему витрины, а следом за ними — быки, и люди будут падать и закрывать голову руками, а наготове будут стоять санитарные машины, и зрители — на балконах, на протяжении всех 823 метров улицы Эстафеты, по которой быки будут гнать любителей корриды во время этой полутораминутной «энсьерро» — станут напряженно и тихо смотреть, к а к погибают или как чудом спасаются эти сумасшедшие «афисионадо».

На Пласа дель Кастильо по-прежнему бушевала толпа: все семь дней Сан-Фермина люди не спят — лишь только утром после «энсьерро» выпьют вина, съедят сэндвич и лягут на улице или в сквере, несмотря на категорический запрет полиции. (Впрочем, несмотря на многие категорические запреты испанцы все более и более открыто игнорируют официальные «табу». В «Каса Марсельяно», где сидели за соседним столиком французы, молодые студенты из Мадрида кричали: «Да здравствует блок Миттерана-Марше!» Это было невозможным год назад, как невозможной была открытая продажа книг Ленина,— сейчас они появились на книжных витринах.)

Мы проталкивались сквозь толпу, к бару «Чоко», где Старик всегда пил кофе рано утром после «энсьерро», и я смотрел на Тино, которого многие узнавали, и дивился той маске трагизма, которая была на его лице. Наверное, каждый тореро постоянно ощущает состояние трагедии, и не только в госпитале после ранения, но и сейчас, ночью, глядя на толпу, которая знает его, приветствует и любит, но до тех лишь пор, пока он — Тино, и пока он не погиб или не испугался, или не заболел: тогда его предадут презрительному забвению. (Впрочем, подумал я, только ли к одним тореро приложимо это? Литератор, переставший писать, состарившаяся балерина — разве все это не составляет одну цепь — тяжелые вериги искусства?)

...А ранним утром, когда по улице Эстафеты с олимпийской скоростью — километр за полторы минуты — быки пронеслись и ранили шестерых «афисионадо», мы с Дунечкой сидели на Пласа де Торос. Только-только с арены ушел оркестр — поскольку люди здесь собираются загодя, на рассвете, часов в шесть, чтобы занять места получше, памплонцы радуют гостей два часа прекрасными песнями Наварры, танцами Астурии, страны басков, и на Пласа де Торос выскакивают зрители, ибо они не в силах сдержать себя, им надо двигаться, все время двигаться — до тех пор пока на арену не вбегут люди, а следом за ними, поднимая их на рога и топча копытами, не ворвутся «торос», окруженные волами с колокольчиками на потных шеях. Вот барьер перепрыгнула длинноногая девушка, жеманно пошла, виляя бедрами, задрала юбку, а ведь это не девушка, это парень дурачится, хохот, свист, веселье... Сразу же появляется полиция, «нравственность — превыше всего, что это за французские штучки», сейчас схватят парня... Но — нет... Изменилась Испания. Полицейских освистали так, что казалось, воздух порвется, словно загрунтованный холст.

— Фуэрра! Вон! Фуэрра! Пошли прочь!

И ведь пошли прочь.

Веселье народного праздника продолжалось на арене до тех пор, пока служащие арены — их называют «работяги корриды» — не затолкали всех на трибуны — пришло время «энсьерро».

И вот прогремела пушка, и мы услышали шум, и он катился, как лавина прибоя, а потом этот единый шум распался на голоса, но и голоса, в свою очередь, разделились на вопль, тонкий крик, хриплый «а-а-а-ах», а потом на арену вбежали первые «афисионадо», а следом за ними, словно пульсирующая кровь из порванной артерии, втолкнулись следующие, а за этой второй партией, закрыв затылки руками, сталкивая друг друга с ног, ворвались третьи, последние, потому что их преследовали быки, и вся Пласа де Торос повскакивала со своих мест, заохала, закричала, а особенно кричали на трибунах «соль», которые подешевле, и там, в отличие от трибун «сомбра», все были в бело-красных костюмах, и все с бурдюками вина, и все поили друг друга, запрокинув головы, ловя ртом быструю, черную струю тинто, и не проливали ни капли на рубашку, а если и проливали, то что из того? — все равно красный цвет на белой рубашке угоден Сан-Фермину и нужен для того, чтобы загодя злить «торос», которые сейчас метались по арене, поддевая рогами тех, кто стоял к ним ближе, а остальные переваливались через деревянную изгородь, и что там прыжки Брумеля и Тер-Ованесяна — сигали с места, без разбега, подгоняемые зримым ощущением гибели — отточенным, холодным и гладким рогом быка, который входит в тело, словно в тесто.

Быков, разъяренных, р а с с м о т р е н н ы х зрителями, великолепных быков с финки Миура, что в Андалузии — там отменные травы и мало воды, поэтому они похожи на символы скоростной, спортивной мощи, вроде

спортивных «ягуаров»,— загнали наконец в ворота, откуда их выпустят в шесть часов пополудни, когда начинается коррида, и на арену снова высыпали сотни молодых и пожилых «афисионадо», и даже две толстенные американки выскочили на поле (это не переодетые, это — экзальтированные), но их освистали, и полиция прогнала их обратно, и зрители поддержали полицию в этом, и началась игра «афисионадо» с бычками-двухлетками: их выпускали через те же ворота, куда только что скрылись быки-борцы четырехлетки. Но и эти яростные двухлетки, которых выпустили на поле, начали разметывать толпу, и от них убегали, но не могли убежать, и падали, и закрывали голову руками, и сжимались в комочек, маленький, человеческий комочек — словно во чреве матери, и бык-двухлеток бил этот комочек рогами и мял копытами, но «афисионадо», рискуя, дергали быка за хвост, и принимали удар на себя, чтобы другие подняли раненого с желтого песка и унесли на трибуны, и на трибунах стоял замирающий, протяжный, тихий, громкий, ликующий, негодующий, непереводимый:

— О-о-о-о-о-о-о-л-ле!

А потом выпускали трехлеток с одним рогом, завязанным тряпками, и трехлетки тоже били «афисионадо», и разгоняли их, но не могли разогнать, потому что каждый испанец — Дон Кихот (когда он, безоружный, идет на быка, дразнит его газетой, играя ею словно мулетой) и Санчо Пансо (когда он сворачивается в комочек, чтобы тугая собранность тела самортизировала удар копытом или рогом), и поэтому нельзя, чтобы тебя, «афисионадо», освистали трибуны, если ты убежишь и струсишь, надо прыгать, манить быка на себя любым способом — все допустимо, одно лишь запретно: пугаться или — так будет точнее — показывать свой испуг зрителям...

Когда это опасное и прекрасное веселье кончилось, я спросил Дунечку:

— Почему Старик назвал роман о фиесте «И восходит солнце»?

— Не знаю,— ответила она.— Наверное, из-за Экклезиаста.

— Нет,— сказал я уверенно, не страшась категоричности на этот раз,— совсем не поэтому.

— А почему же? — спросила Дунечка.

— Вон,— сказал я,— посмотри налево.

Она обернулась, и в глазах у нее зажглось огромное красное солнце Испании, оно появляется на Пласа де Торос именно в тот миг, когда кончается «энсьерро», и начинается первое утро фиесты Сан-Фермина, и «сан» не очень-то приложимо к Фермину, потому что он прост, добр и открыт, как истый испанец.

СТАРИК В НАВАРРЕ

Писать о корриде невозможно после Старика, лучше попробовать написать о нем самом в Памплоне: в этом мне помогли скульптор Сангвино и журналист Хосе Луис Кастильо Пуче, издавший книгу «Хемингуэй в Испании».

Я составил распорядок дня, по которому Старик там жил: до «энсьерро» — рюмка «Перно», потом улица Эстафета и маленький балкончик, один из сотен, забитых людьми с шести утра: лица сонные, смешные, усталые, счастливые, особенно у памплонцев, которые будут помнить этот праздник и жить им весь год — все эти нудные «первые января, вторые февраля, третьи марта, четвертые апреля, пятые мая, шестые июня — о-о-о-о-оле! — седьмое июля Сан-Фермин!», самый главный день года. Из окон маленьких ресторанчиков поднимается на-

верх, по узкому коридору старинной улицы, терпкий запах жареной капусты, вареных креветок, перегорелого оливкового масла — повара готовятся загодя встретить гостей после «энсьерро», когда тысячи ввалятся в ресторанчики и станут много есть, а еще больше пить, но даже то, что эти обыденные запахи кухни поднимаются наверх, и дышать трудно, и нет наваррского воздуха, который спускается с гор, храня в себе запахи близкого Бискайского залива, даже это не мешает ощущению постоянного праздника, который навсегда останется в тебе.

Старик наблюдал за тем, как бежали по улице «афисионадо», истинные патриоты Сан-Фермина, люди, умеющие перебороть страх, и еще раз анализировал быков: первый раз их можно наблюдать во время вечернего перегона из корраля, куда «торос» привозят на машинах с полей в тот загон, где они будут спать, ожидая «энсьерро», но вечерняя пробежка отличается от утренней тем, что уже темно и нет солнца, а истинная коррида невозможна без солнца. Воображение Сервантеса, Унамуно, Баррохи и Бласко Ибаньеса — это воображение, взращенное солнцем, оно билось в них, а когда их лишали солнца, как это сделали с Сервантесом, а позже с Унамуно, оно продолжало биться в их памяти, реализуясь в книги — нет, какое там в книги! — в новые жизни, судьбы, в новые миры, прекрасные миры, где все говорят и думают по-испански, а это значит открыто, мужественно и добро, ибо таков уж этот народ, право слово...

Когда утреннее «энсьерро» кончалось и Эстафета снова делалась улицей, а не загоном для быков, окруженным со всех сторон деревянными щитами, сохранявшими окна и витрины, Старик шел на Пласа дель Кастильо, и садился на открытой веранде бара «Чоко», и просил официанта принести ему кофе с молоком и све-

жих, теплых еще, только что испеченных «чуррос» — длинных мягких пряников. Он завтракал как истый испанец, макая теплые, масляные «чуррос» в стакан «кафэ кон лече», и комментировал «энсьерро», словно истинный знаток корриды, быков, людей, и подписывал протянутые ему сотнями рук открытки и книги, и каждую букву выводил тщательно, отдельно одну от другой, и почерк его был очень похожим на почерк Горького, я много раз рассматривал его дарственную надпись на книге «Зеленые холмы Африки», которую мне привез Генрих Боровик. (Старик тогда спросил Серго Микояна и Генриха: «А почему Юлиан? Это слишком официально, словно на банкете у американского посла. Как вы называете его?» Ребята ответили: «Мы называем его Юлик». И Старик вывел своим каллиграфическим почерком, чуть заваленным влево: «Юлику Семенову, лучшие пожелания счастья — всегда — от его друга Эрнеста Хемингуэя».) Он подписывал открытки, книги, платки очень заботливо и внимательно и фамилию свою выводил по буквочкам, а не ставил какую-нибудь закорючку, как это делают молодые гении, алчущие паблисити, он был уважителен к людям, потому что наивно верил в то, что все они читали его книги. Но когда толпа становилась угрожающе-огромной, он говорил:

— Все. На сейчас хватит. Остальные я подпишу попозже или завтра,— и добавлял: — В это же время.

И уходил на Пласа де Торос, чтобы снова смотреть быков и говорить с «ганадерос» о том, какой бык особенно силен, что надо ждать от него, каковы рога — не слишком ли коротки, и как сильны мышцы ног, и хорошо ли зрение «торо». Он обсуждал все это не спеша, и «ганадерос» отвечали ему, обдумывая каждое слово, ибо они знали, что этот «инглес» не похож на других, он знает толк в корриде и быках, и это он на-

писал что-то про фиесту, а потом про гражданскую войну, но не так, как о ней писали в Испании, но все равно ему дали Нобелевскую премию, и потом он говорит по-испански как настоящий «мадриленьо» и такие сочные матерные словечки вставляет, какие знает только тот, кто рожден под здешним небом.

Тут, на Пласа де Торос, возле загона, где быки жаждали боя, он проводил каждый день два часа — как истинный писатель, он был человеком режима, даже если пил свое любимое розовое «Лас Кампанас», лучшее вино Наварры. И, будучи человеком режима (пятьсот слов в день — хоть умри), в час дня, когда полуденное солнце делалось злым и маленьким, а на улицах снова начинали грохотать барабаны, завывать пронзительные, но мелодичные дудки (и такая разность возможна в Памплоне) и площади заполнялись группами «пеньяс и компарсас» — молодыми ребятами и девушками, которые поют и танцуют, увлекая за собой весь город, превращая при этом дырявое ведро в великолепный барабан, а старые медные кастрюли — в мелодичные «тарелки», звук которых долог и звенящ,— Старик отправлялся к своему другу Марсельяно, который кормил его тридцать лет назад, или же заходил на базар и придирчиво выбирал лучший крестьянский сыр «кампесино», и «тьерно» — сочную кровяную свиную колбасу, и немного «морсия», и очень много «пан» — теплого еще хлеба; брал все это в машину и просил своего шофера Адамо отвезти его за город — на озеро, к Ирати, и там на берегу устраивал пиршество, наслаждаясь каждым глотком «Лас Кампанас» и соленым вкусом «кампесино», который отдает запахом овина, крестьянки, детства, Испании, и каждым куском сочной «тьерно», и подолгу порой рассматривал лицо шофера Адамо, который был итальянцем и во время войны был на стороне тех, кто воевал против Старика.

Кастильо Пуче как-то сказал мне:

— Папа был всегда одинаковый и при этом абсолютно разный.

Он очень хорошо сказал нам об этом с Дунечкой, и мы переглянулись тогда, и я долго размышлял над его словами, а когда я узнал про судьбу Адамо, слова эти показались мне особенно значительными.

Я не знаю, отчего я подумал о М е с т и Старика тем, кто был против него, против нас, против республиканцев, тогда, в тридцать седьмом. Не знаю, отчего я подумал об этом. Но, отгоняя от себя эту мысль, я возвращался к ней все чаще и чаще, ибо месть мести рознь. Мерзавец мстит из-за угла, он пишет донос, скрепляя его чужой подписью, или нанимает тех, кто будет бить человека, которого он хочет уничтожить, или похищает детей своего врага — мало ли способов подлости?! Но существует иная, особая месть, и она не противоречит законам рыцарства. Писатель лишен права на месть Словом — он тогда не писатель, а Фаддей Булгарин или еще кто иной — посовременнее. Месть в мыслях — это совершенно иное, тут сокрыто качество особого рода. Помноженная на дисциплину и благородство, такая месть может отлиться в «По ком звонит колокол», а это ведь и не месть, но возмездие, это — от Шекспира и Толстого, который, впрочем, Гамлета не принимал...

Особая месть Старика, нанявшего в шоферы бывшего итальянского фашиста, чтобы тот возил по дорогам его,— Старика,— Испании, была местью, про которую знал он один, а может быть, он — так же, как я сейчас — отгонял от себя эту мысль и старался найти иное определение своему чувству — кто знает?

Человек дисциплины, Старик никогда не говорил в Испании про гражданскую войну — он не боялся за себя, он боялся за того, кому он скажет о своей позиции, которая не изменилась с тридцать седьмого года — она может

измениться у тех лишь, кто любит Испанию показно, парадно, а не изнутри, как только и можно любить эту замечательную страну. Но если ему навязывали разговор, он резал, бил в лоб, как на ринге, чтобы сразу же повалить противника в нокаут: «Да, мы тогда проиграли». Он выделял два слова — «мы» и «проиграли». Как истинный художник, который сформулировал теорию «айсберга», он не педалировал на слове «тогда» — десять процентов должно быть написано, остальное сокрыто, ибо декларация губит искусство, талантливость всегда недосказанна и поэтому понятна тем, кто хочет понять. (Я напишу о том, что происходит в политике и экономике Испании, но сделаю я это особым образом — привлеку моих французских и американских коллег, которые работают в буржуазной прессе — сие, надеюсь, оградит меня от визитных трудностей. Впрочем, я свою позицию никогда не скрывал и считаю унизительным скрывать ее, и я очень гордился, когда в Испании меня называли «рохо» — «красный». Это, кстати, тоже симптом — дружить, открыто дружить с «рохо» из Москвы: года два-три назад такое каралось.)

...Старик мог подолгу, задумчиво рассматривать лицо Адамо, и он, верно, жалел шофера, ибо понимал, что мстит. И тогда он переводил взгляд на Мэри, и лицо его смягчалось, и расходились морщинки вокруг глаз. Я понимаю, отчего такое случалось с ним, хотя провел с Мэри всего один день в Нью-Йорке, неделю в Москве и два дня на охоте, на Волге, куда я ночью отвез ее прямо с читательской конференции в Библиотеке иностранной литературы.

Кто-то из великих испанцев утверждал, что, познав одну женщину, ты познаешь их всех — причем в это вкладывается отнюдь не плотский смысл, не тот, который так импонирует животным мужского рода, пылкокровным и тупым кретинам, не скрывающим своего

снисходительного превосходства над женщиной только потому, что ему дано заниматься дзю-до; отнюдь нет. Унамуно считал, что женщины похожи одна на другую значительно больше, чем мужчины — все они мечтают об одном и том же: семья, дети и любовь — обязательно до старости. В мужчинах значительно в большей мере заключено начало «личностного», тогда как природа распределила между женщинами мира одну-единственную душу — с небольшими коррективами за счет уровня развития государства, климатических условий, национальных обрядов и привычек. (Тезис невозможен без антитезиса, разность рождает истину — возражая и Унамуно и себе самому, я вспоминаю Ангелину, Гризодубову, Терешкову и Плисецкую... Одна душа? Впрочем, можно выносить определенное суждение обо всем — это неприложимо лишь к женщине. Такая антитеза, думаю, не вызовет гнева представительниц прекрасного пола.)

Всякое познание — бесконечно, и коррективы в этот необратимый процесс вносит не догма — жизнь. Этим утверждением я не пытаюсь опровергнуть мудрость великих испанцев. Оспаривать их — трудное дело, и «коллективная душа» женщин — трезвое, хоть и горькое соображение, но, видимо, из каждого правила следует делать исключение. К таким исключениям должна быть отнесена Мэри. Я не могу писать о том, что она мне рассказывала о Старике — это слишком личное, что знали только два человека, но то, о чем пишет Кастильо Пуче, знали в Памплоне многие: это история, когда Старик «похитил» двух молодых американок, а потом одну «ирландскую девушку», и как над ним подшучивали, разбирая вопрос, отчего это у Папы такие синяки под глазами, и Мэри тоже подшучивала над ним, продолжая быть ему д р у г о м. Жене художника отпущена великая мера трудных испытаний; выдержать их дано не каждой. В че-

ховском определении «жена есть жена» заложен библейский смысл, но без того пафоса, который порой присущ великой литературе древности: в высшей истине всегда необходим допуск юмора. Жена — в распространенном понимании — это женщина, которой законом дано право отвести ото рта мужа рюмку, устроить скандал, если он увлечен другой, подать на развод, когда «глава семьи» проводит долгие недели на охоте или на рыбной ловле, или молчит, угрюмо молчит, не произнося ни слова целые дни напролет. Мы подчас лжем самим себе, когда говорим о жене как о друге, потому что никогда мы не рассказываем ей того, что рассказываем Санечке, Хажемелу, Семену, Лёке, Феликсу — у костра, в лесу, ожидая начала глухариного тока, когда смех наш приглушен лапами тяжелых елей, в низине бормочет ручей, и все мы ждем того часа, когда первый глухарь «щелкнет», возвестив миру начало его «песни песен». Хемингуэй рассказывал Мэри все — не подбирая слов, не страшась открыть себя, и он никогда не боялся потерять ее, приобщив к своей мужской правде, если только мужчина хоть один раз испугается — он перестанет быть мужчиной.

В Памплоне Мэри была рядом с Папой, только если это было ему нужно. Он не говорил, когда это было нужно — она это умела чувствовать, потому что любила его, преклонялась перед ним и обладала редкостным даром высокого уважения к своей миссии — быть женой художника.

Только филистер или старый ханжа может упрекнуть меня за то, что мне видится именно идеал такой жены; впрочем, идеал однозначен, но мера приближения к нему — разностна...

В половине шестого, закончив обед на Прати, Старик возвращался в Памплону, или уходил из «Каса Марсельяно», или прощался с Хуанито Кинтана, которого он вывел

в «Фиесте» под именем «сеньора Мантойа» и который тогда еще, в начале двадцатых, свел молодого Хэма с миром матадоров и остался другом Старика, когда тот вернулся спустя тридцать лет всемирно известным писателем, и в их отношениях ничто не изменилось: только выскочки от искусства забывают тех, с кем они начинали и кто помогал им на старте.

Он приходил на Пласа де Торос загодя и любовался тем, как на трибунах «соль» веселые и шумные группы «риау-риау» в белых, зеленых, красных и оранжевых рубашках — разноцветье, складывающееся в ощущение праздника, — пели свои песни: одна кончится, сразу начинается следующая, и кажется даже, что она еще не кончилась, это вроде волны, которая догоняет другую и бьет ее внахлест, и целый час перед началом корриды Пласа раскачивается, веселится, пьет, танцует на месте, но танцует так, что импульс чужого движения передается тебе, и ты тоже хочешь подняться, вроде этих «риау-риау», и защелкать пальцами, подняв над головой руки, и выделывать ногами сложные выверты, и быть в одном ритме с тысячами людей, которые не смотрят друг на друга, но *делают* одинаково — это как Панчо Вилья, когда не ждут приказа, но каждый знает боль и свою надежду, и поэтому рождается всеобщая слаженность, один цвет, единая устремленность.

В рассказе «Удар рога» Хемингуэй, описывая пансионат в Мадриде, где он жил в первые свои приезды в Испанию, выводит образ тореро, который *испугался*. (Это лейтмотив его творчества: «человек и преодоление страха», ибо Человек — лишь тот, который смог преодолеть страх.)

Мы с Дунечкой спросили портье в нашем отеле, оставлены ли нам билеты на сегодняшнюю корриду, на выступление «звезды» Пако Камино, брата которого в прошлом году убил бык на корриде в Барселоне, а само-

го его сильно ранил, и на Пакирри, который женился на дочери Ордоньеса, внучке Ниньо де ля Пальма, и на Диего Пуэрта, который славится умением быть мудрым, ибо он, как и большинство матадоров, пришел на корриду с крестьянского поля.

— О, сеньор Семеноф,— ответил портье, тяжко вздохнув, — на сегодняшнюю корриду можно попасть, лишь обратившись к услугам черного рынка.

— Где он находится?

— На Пласа дель Кастильо,— шепотом ответил портье, ибо он, как все испанцы, обожает игру в опасность: я потом убедился, что в Памплоне каждый полицейский покажет вам путь на черный рынок Пласа де Торос, не понижая при этом голоса и не оглядываясь по сторонам.

— А лично вы не можете помочь мне?

Портье легким взмахом холеной руки взял листок бумаги и написал на нем цифру: «1500 песет», что в переводе на проклятую «свободно конвертируемую валюту» означает 30 долларов. (Четвертая часть месячного заработка рабочего средней квалификации.)

— Спасибо,— сказал я, переглянувшись с Дунечкой,— мы с дочерью обдумаем это предложение.

И мы пошли на черный рынок, и выяснили, что портье был честным человеком: действительно, билет на сегодняшнюю корриду стоил 1300 песет. Что касается 200 лишних, то здесь вступает в силу закон риска, оплата посредника — портье положит в свой карман не более 150 песет от двух билетов, а это по правилам — по здешним, естественно, правилам.

Словом, без помощи нашего доброго друга скульптора Сангвино мы бы на корриду не попали, но он — самый популярный ваятель Испании, друг всех матадоров, а Испания чтит популярных людей.

И вот здесь, на Пласа де Торос, когда началась

коррида, и когда после грома оваций Пако Камино начал первый бой, и бык у него был красным и не очень большим, всего 458 килограммов, я увидел воочию, что такое страх.

(Я испытал страх за день перед этим, когда повел Дунечку на первую корриду: многие северяне уходят после начала боя; правда, и каталонцы с презрением отзываются о корриде, считая ее изобретением «ленивых и кровожадных андалузцев». Однако когда Батиста славно поработал с быком перед тем, как выехал пикадор — этот, увы, необходимый «бюрократ корриды», и потом провел прекрасное, рискованное ките, отвлекая на себя разъяренного быка после того, как пикадор «пустил ему первую кровь», я взглянул на дочь и понял, что страхи мои были пустыми: лицо ее казалось замеревшим, собранным, отрешенным — точно таким, когда она сидит у мольберта и пишет свою картину.

Пако Камино пропускал мимо себя быка, взмахивая капотэ осторожно, придерживая его возле колен, чтобы рога быка шли низко — он словно бы хотел заставить «торо» бодать желтый песок арены, укрытый на какое-то мгновение розовым капотэ. Это сразу же не понравилось зрителям, ибо «два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков: во-первых, быки должны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Англичане и французы живут для жизни».

Лучше, чем Старик, не скажешь — незачем и пытаться.

Пако Камино держал быка в десяти сантиметрах от себя, а то и больше, и движения его отличались скованной суетливостью, и на трибунах стали кричать и свистеть, а когда бык поддел рогом капотэ, вырвал его из рук Пако Камино, и погнал матадора по арене, и Пако вознесся над барьером и перевалился через него,

как настоящий «афисионадо», который хочет быть матадором, боится им стать и все-таки прет на рожон, расплачиваясь за это ранением или жизнью, и если «афисионадо» за такой прыжок аплодируют, то Камино освистали дружно и с такой яростью, что казалось, на Пласа де Торос запустили двигатели три реактивных истребителя.

Камино плохо вел себя на арене, и мне было больно смотреть на Дунечку, которая только-только познакомилась с ним в баре отеля «Джолди», где Старик обычно кончал вечер, разговаривая с матадорами перед тем, как уйти на ужин в «Лас Пачолас». (Беседовать в «Джолди» надо уметь: бар — комната сорока метров — от силы, а народа там не менее двухсот человек, и все при этом кричат, жестикулируя, и поэтому беспрерывно толкают тебя локтями. Если не жестикулировать, как все, собирающиеся здесь, тебе набьют синяки, но стоит начать жестикулировать так, как это делают испанцы, сразу же наступит некая гармония, и локти соседей будут проходить мимо твоих локтей, и никто не станет пересчитывать тебе ребра — лишнее подтверждение тому, что в чужой монастырь нет смысла соваться со своим уставом.)

В «Джолди» Пако Камино был очень красив и значителен, но в отличие от Тино, он прятал под маской веселости ощущение постоянного страха, и он хорошо обманул всех нас, но это уже от политика, а матадор должен быть как художник: он имеет право не скрывать свое состояние накануне акта великого таинства творчества, а тавромакия — это творчество, с этим нелепо спорить.

И сейчас, на арене, Пако Камино был бледен и м е л о к. Он плохо убил быка, и когда он уходил, в него с трибун «сомбра» летели подушки, на которых сидели сеньоры и сеньориты, а с трибун «соль», где подушек

не берут из-за экономии, на него обрушились куски хлеба, пустые бутылки из-под пива и гнилые помидоры.

Но после него было чудо: выступил «человек Ордоньеса — Ниньо де ля Пальма» — Пакирри. На арену выскочил юный, маленький Вахтанг Чабукиани. Он позволил пикадору только один раз пустить быку кровь, а потом взял быка на себя и, разъярив его, остановил в центре арены, и стал перед ним на колени, и взмахнул мулетой, пропустив его в сантиметре от себя, не поднимаясь с колен, а лишь поворачиваясь стремительно, и я ощутил его боль, и почувствовал, как песок рвет кожу под желтыми чулками, и снова вспомнил испано-грузинское родство, и танцоров из Тбилиси, которые шли по улицам Хельсинки и танцевали, падая на колени, не страшась асфальта, а вокруг гремели аплодисменты друзей и свист врагов, а Пакирри снова пропустил быка мимо себя, а потом попросил своих бандерильерос[1] уйти с поля и сам поставил бандерильи, а после ударил быка и, остановившись перед ним, поднял руку, и бык, послушный его властному жесту, пал, и Пласа де Торос стала белой, оттого что все замахали платками, требуя от президента корриды награды, «трофэо», как говорят здесь, и президент выбросил белый платок, и все закричали: «фуэрра, долой, фуэрра!», и президент выбросил второй платок, и Пакирри вручили два уха, и он снисходительно зашвырнул их на трибуны — одно на «соль», второе — на «сомбра», и его унесли на руках, как унесли на руках и Диего Пуэрта, ибо тот продолжал бой после того, как бык рассек ему руку и пропорол ногу, но он получил только одно ухо, и зрители согласились с этим, потому что в его искусстве не было того открытого и пренебрежительного отношения к смерти, что проносится в сантиметре мимо тебя, и еще потому, что он слишком хотел победить, и это было заметно, в то время как

[1] Бандерильерос — помощники матадора.

Пакирри не думал о победе — он просто сражался, любя своего противника.

Мы кончили вечер с Дунечкой в «Джолди», и мы пожелали счастья Пакирри и Диего Пуэрта, как это принято в Испании: «Пусть бог распределит удачу», но Пуэрта ответил не так, как здесь было принято раньше,— он ответил: «На арене удачу распределяю я».

А Пако Камино, красивый до невероятия и такой же гордый, прошел к своему «роллс-ройсу» мимо маленького паренишки со свежим шрамом на носу, и женщины пробивались к Пако, работая локтями, как марафоны, а мужчины хлопали его по плечам — все-таки знаменитость,— а паренишка со шрамом стоял рядом с нами и что-то надписывал на фотографии Дунечке, и никто не рвался к нему, а это был Ниньо де ля Капеа, который назавтра получит высшую награду Испании: два уха и хвост, и в газетах напишут, что он — надежда страны, и что он работает так, как работал Манолете и Ордоньес в свои самые лучшие дни — не годы.

...Люди, пожалуйста, смотрите вокруг себя внимательно: всегда подле вас есть Моцарт, Шукшин и Ниньо де ля Капеа — девятнадцати лет от роду, скромный и сильный, каким был Педро Ромеро, когда Хемингуэй списывал его с Ниньо де ля Пальма.

КОРРИДА НА «ВИСТА АЛЛЕГРЕ»

...Бык был рыжим.

Он выскочил на арену Пласа де Торос «Виста Аллегре» стремительно и яростно. Он дважды разогнал бандерильерос и ударил левым рогом в деревянный загон, за которым прятались матадоры, под северной трибуной. Загон зашатался, посыпались желтые щепки, и люди начали кричать:

— Оле! Оле! Оле!

Домингин закурил новую сигарету и сказал:

— Это хороший бык. И рога у него не подпилены. С таким быком очень интересно работать. Это не двухлеток, и пасли его в предгорьях, и у него было не меньше четырех трав. Это мы так говорим о возрасте хорошего быка с сильными мышцами. Видишь, в нем совсем нет воды. Он действительно очень сильный. Это хороший бык. Очень хороший. Он наверняка из Андалузии. Там быкам приходится ежедневно делать по десять километров — к воде, по камням, поэтому у них такие сильные мышцы. В Саламанке быков кормят каштанами, и вода рядом, и ее много, поэтому бык большой, но совсем не сильный, и в нем угадывается вода, хотя он выглядит на арене красиво и устрашающе.

Матадор, который должен был работать с этим рыжим быком, был маленького роста, с фигурой солиста балета. Его звали Хуан Мануэль. Он взял капотэ и вышел на арену. Рыжий бык бросился на Хуана Мануэля, низко склонив голову. Я понял, как быстро и мощно он бежал: на фоне желтого песка арены, под желто-синим знойным небом, мимо бело-красных трибун — на красно-фиолетовое капотэ, которое взметнулось перед его острыми рогами, послушное руке Хуана Мануэля.

— Он переосторожничал,— сказал Домингин,— надо было подпускать быка еще ближе. Надо было идти на него, а не ждать. Встречное движение двух сил — это главное в искусстве корриды.

Бык пронесся под капотэ, развернулся и замер напротив Хуана Мануэля.

— Торо, торо! Торо! — позвал быка матадор и чуть пошевелил капотэ.— Торо! — повторил он, и сделал шаг вперед, и перевел капотэ с правого бока на грудь.

Я чувствовал, что сейчас рыжий бык бросится на маленького Хуана Мануэля, и, вероятно, это почувство-

вали все на Пласа де Торос, потому что стало очень тихо, и я зажмурился, и снова — который раз уже — ощущение нереальности охватило меня, и показалось, что открой я сейчас глаза — и окажусь дома, а совсем не в Мадриде возле Карабанчели, и вчерашняя ночь будет как сказка, которая придумалась и которой вовсе не было, и не было Маноло и Педро, и не было громадной синей луны на Пласа Майор и спуска в «Месон-дель-Коррехидор», и не было синих изразцовых плиток, вмазанных в стены «Каса Сеговия»: «Кто много пьет, тот позже платит» и «Вино пьют только в двух случаях: когда едят бакалао и когда не едят», и не было смеха Хосе Антонио, который взял у фламенко гитару и запел песню патриотов-басков, и все кругом стали ему подпевать; и не было гудящего ночного «Хихона», куда на руках перенесли актрису, которая прервала спектакль: «Как вы можете смотреть эту комедию, когда в тюрьмах умирают люди!..»

...Я открыл глаза, когда бык уже прошел мимо Мануэля и люди на трибунах закричали: «Оле! Оле!»

— Он хорошо его пропустил,— сказал Домингин,— он это сделал в манере Ордоньеса, только чуть рисковее. Это от молодости, это пройдет. Риск необходим, но он должен быть оправдан.

Рыжий бык снова бросился на матадора, и Хуан Мануэль красиво пропустил его под правой рукой, а потом под левой, и рог быка проходил в нескольких сантиметрах от его костюма, расшитого серебром и золотом.

...Я очень боялся идти на корриду с Домингином, с тем самым, о котором писал Старик. Я боялся идти на корриду, потому что многие говорили мне, вернувшись из Мексики, куда приезжали на гастроли испанские матадоры, или из Франции, где выступал Кордобес, что корриду придумал и разукрасил Хемингуэй, а на самом деле

это бойня, а в бойне победитель всегда известен заранее, и что будет много крови, будет ярость и счастье толпы, которой движет слепое желание жестоких зрелищ.

Но когда на арену выехали альгвазильос[1] в черных, времен Филиппа VI костюмах, с белыми кружевными высокими воротниками, и когда альгвазильос картинно раскланялись с президентом корриды, а за ними вышла квадрилья[2] — три матадора, у каждого — три бандерильерос, два пикадора и мульлерос[3], которые увозят убитого быка с арены на своих мощных, яростных мулах, и когда это бешеное соцветие красок было встречено праздничным криком трибун, и когда президент корриды разрешил бой, и запели трубы и тамтамы, и арена опустела, и старик торильеро[4] замер возле ворот, дожидаясь того момента, когда глава корриды взмахнет белым платком и можно будет выпустить быка, и когда вырвался рыжий бык и разбил левым рогом загон для матадоров и стадион закричал одобрительное свое «оле!»,— я забыл слова товарищей о том, что коррида — это кроваво и некрасиво, и все исчезло — осталась только маленькая фигурка Хуана Мануэля с капотэ в руке и пятисоткилограммовый бык с острыми, как шило, рогами, который снова изготовился к броску на матадора.

...Я слышал, как маленький Хуан Мануэль перед тем, как выйти из-за загона к быку, прошептал, перекрестившись: «Ке эль дьос репарте суерете»[5], а один из его бандерильерос ответил: «Эс эль торо кьен репарте»[6].

---

[1] Альгвазильос — открывающие парад.
[2] Квадрилья — строй, в котором выходят на парад матадоры и их помощники.
[3] Мульлерос — погонщики мулов, которые едут в квадрилье последними.
[4] Торильеро — человек, который отпирает ториль,— ящик, где содержится бык, перед тем как выйти на арену.
[5] Ке эль дьос репарте суерете — пусть бог разделит удачу.
[6] Эс эль торо кьен репарте — удачу распределяет бык.

Я снова вспомнил тех, кто бранит корриду за жестокость, и ясно увидел зеленый луг в Мещере и быка, который гнался за двумя дюжими дядьками, и было это не смешно, а страшно: разъяренный бык и человек — пусть даже с двумя шпагами в руках. Надо только хорошо представить себе быка, а еще лучше хоть на минуту увидеть себя в роли матадора, который стоит с этим откормленным зверем один на один, с красно-фиолетовой тряпкой в руке и без шпаги...

Хуан Мануэль красиво работал с быком, позволяя животному чувствовать податливую и слабую человеческую близость, разрешая быку сражаться — с шансом победить. Одно неверное движение — и рог войдет в бок или в пах, и на поле выбегут доктора в белых халатах — я все время вижу их, они на противоположной стороне, возле того места, где стоят «ганадерос». Доктора следят за матадором, «ганадерос» — за своим быком...

Хуан Мануэль завертел быка, здорово завертел его. Рыжий бык ярился, из-под копыт его вздымался песок, белая пена появилась на вывороченных коричневых губах.

Хуан Мануэль славно провел первую часть корриды, он честно и без всяких хитростей показал зрителю, что рыжий бык силен, смел и умеет нападать на то красно-фиолетовое, что мелькало перед его глазами в руках маленького человечка, и его нападение было хитрым и мощным. Хуан Мануэль привел быка в ярость; но, работая с ним, он был безоружен, в руке у него было лишь капотэ. Это было такое состязание, когда бык имел больше шансов на победу, точнее — он имел все шансы победить, но он не победил, и началась вторая часть корриды.

Прозвучали тамтамы, пропела серебряная труба, и на поле выехал пикадор — в доспехах, на коне, укрытом толстой матерчатой попоной, и бык ринулся на пика-

дора и свалил коня, и пикадор упал на песок, неуклюже задрав ноги, обутые в металлические панцири, и толпа удовлетворенно выдохнула, когда матадор мужественно отманил быка от пикадора, взмахнув перед его разъяренной мордой капотэ, принимая на себя бешенство животного.

Пока бык нападал на матадора в центре арены, пикадору помогли влезть на лошадь, и бык снова кинулся на него, прижав лошадь к барьеру, но пикадор успел ударить быка копьем, и на рыжей шее появилась кровь. Пикадор ударил быка еще раз и собрался было нанести третий удар, но трибуны закричали:

— Асесинос! Убийцы! Асесинос!

Когда пикадор слишком долго работает с быком и чересчур сильно бьет копьем — это не по правилам, это может ослабить быка, и тогда уже неинтересно будет матадору вступать в последнюю, смертельную схватку с животным: ведь и в последней части корриды бык должен иметь шанс на победу...

Хуан Мануэль, стоявший рядом со своим «мосо де эспадос» — «шпажным парнем», помощником, который в короткие мгновения отдыха дает матадору стакан воды или меняет шпагу,— выбежал на середину арены и закричал:

— Тодос фуэрра! Все долой! Тодос фуэрра!

К нему вышли бандерильерос, чтобы «ставить быку» в шею бандерильи — короткие дротики, которые приводят быка в еще большую ярость, готовя его к последнему этапу боя, к игре с мулетой, но Хуан Мануэль сказал:

— Дехадме соло! Оставьте меня одного! Соло!

Трибуны замерли. Это редко, когда матадор не разрешает пикадору бить быка два раза, как положено по правилам, и еще реже он берет на себя работу бандерильерос. Хуан Мануэль взял на себя их тяжелую работу.

2 Заказ 85

В руках его были две бандерильи. Он залез на балюстраду, окружавшую арену, закричал: «Торо! Торо!» — бык повернулся к нему, изготовившись к броску, чтобы смять этого маленького, слабого человечка, поднять его на рога, а потом бросить на песок, и поднять на рога снова, и перебросить через себя, а потом развернуться и ударить еще раз, пока не прибегут другие матадоры, участвующие в сегодняшней корриде, и не отманят его мулетами, и бык бросился на Хуана Мануэля, и я почувствовал, как закаменела рука Домингина, и как он чуть привстал со своего места, и все привстали на трибунах, и снова настала гулкая тишина, и в этот момент маленький Хуан Мануэль бросился навстречу рыжему быку, и это было настоящее встречное движение двух сил, истинное украшение корриды, и, пропустив рог быка под мышкой, Хуан Мануэль подпрыгнул и ударил двумя бандерильями в шею быка, и он хорошо ударил, потому что бык остановился как вкопанный, и трибуны разорвались овацией, а Хуан Мануэль опустился на колени и раскланялся, а бык в это время кинулся на него, но маленький матадор успел вскочить, почувствовав опасность спиной, затылком, сердцем, глазами, и он отбежал в сторону, но он отбежал так, что никто не засмеялся, не засвистел и не закричал: «Мясник! Трус!», а, наоборот, все снова зааплодировали. А потом он еще раз поставил бандерильи, и уже было ясно, что он победил; он рисковал осознанно и все время давал быку шанс на победу — он честно работал с ним. Он заколол его, набежав прямо на рога, и уклонился от страшного предсмертного удара зверя в самый последний миг, когда рыжий бык вскинул голову со всей своей силой и мощью за секунду перед тем, как рухнуть на желтый песок побежденным.

...Следующий бык оказался плохим, и на трибунах закричали:

— Кохо! Кохо! Хромой! Кохо!

Президент корриды взмахнул своим белым платком, и на арену выпустили пятерых коров, которые постоянно живут возле конюшен Пласа де Торос, и они увели с собой этого черного «кохо» с арены, и, когда выпустили следующего быка, все равно на трибунах смеялись, хотя бык был хороший, быстрый, с синеватым оттенком — такой он был черный. То ли это повлияло на Педро, матадора, который должен был сейчас выступать, то ли он еще был совсем молодым, только-только перешедшим из новильерос, которые работают с быками-двухлетками, то ли слишком красиво выступил Хуан Мануэль,— не знаю почему, но бой был неинтересным, и на трибунах свистели, и потный, бледный Педро нарочно подставлялся под удар — раненому простят все, о раненом напишут в газетах, с раненым продлят контракт, но бык не шел на него или замирал в шаге от мулеты, и кто-то сказал на трибуне:

— Этот не из школы Домингина...

Хуан Мануэль попал к Домингину случайно. Он был шестнадцатилетним малетильо. Так называют ребят, которые мечтают стать матадорами и ходят со своими малета — маленькими узелками, иногда чемоданчиками, где хранят богатство — шпагу, мулету, тапки, а иногда матадорскую шапочку «монтера», — по тем городам и селениям, где проводятся корриды. Малетильос, минуя стражу и полицию, выбегают на арену в тот момент, когда быка выпускают из торильо. Мальчишка выбегает со своей самодельной мулетой и начинает работать с быком, и эти первые мгновения, пока не подбежали помощники матадора и не утащили мальчишку, решают его участь. Если он неумел в движениях, резок и не так смел, как этого хотят трибуны, ему кричат: «Фуэрио!» («Убирайся!»). Но Хуан Мануэль так работал со своей дырявой мулетой, что зрители стали кричать: «Ке сига!»

(«Пусть продолжает!»), и он продолжал еще какое-то мгновение, пока его не увели с арены, но Домингин не позволил забрать его в полицию и не сказал, как это обычно говорят другие матадоры: «Иди сей хлеб в своей деревне», а, наоборот, похвалил мальчика, уплатил за него штраф полиции и сделал своим учеником.

Ночью я спросил Луиса Мигеля Домингина, самого красивого матадора Испании:

— Ты когда-нибудь боялся быка, Луис Мигель?

Он пожал плечами, закурил.

— Как тебе сказать,— он улыбнулся.— Вообще-то боишься всегда публики, а не быка. Ты, когда пишешь книгу, боишься ведь больше того момента, когда она закончена, а потом вышла к читателю, не так ли? То же самое и у меня... Только у меня это с двумя рогами...

Он девять лет не выступал, Луис Мигель. Он сошел после «Опасного лета». Он выступил этой весной на «Виста Аллегре», чтобы отдать весь сбор в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Перу. Он выступал «мано-мано» вдвоем с Бьенвенида, и он великолепно сражался с тремя быками вместо двух и получил два уха, и все газеты писали об этом бое как о чуде.

— Знаешь,— сказал он,— матадор проходит интересный путь: от романтической первой любви через бесшабашные увлечения, ненужные и смешные, но, если он настоящий матадор, он возвращается к самому началу, как поумневший шалопай — к своей первой любви... Самой романтической и чистой.

Ночью в баре «Алемания», в центре Мадрида, там, где всегда собираются импресарио и матадоры, один очень известный матадор, отхлебывая белое пиво из тяжелой кружки и заедая его соленой ветчиной — краснобурым, терпким хамоном,— сказал мне:

— Знаешь, я, как и все мы, очень люблю Папу и его книги. Он только в одном не прав: он писал, что ком-

мунисты против корриды. Папа ошибся в этом, потому что я сам красный. Мы не против корриды, только мы за хорошую, красивую корриду, которая всегда искусство... Разве нет? Или ты тоже считаешь корриду убийством быков? — Он нахмурился.— Говорят, нас ругал за корриду такой хороший коммунист, каким был Маяковский?

— Он писал о мексиканской корриде,— сказал я, и мы оба засмеялись, и матадор, допив пиво, встал.

— В Мексике не коррида, а развлечение,— сказал он,— разве можно смотреть корриду в Мексике? Там плохие репродукции с Гойи, а не коррида. Настоящая коррида — это искусство, но это и бой, в котором победит тот, кто смелее, спокойней и у кого крепче нервы. Кому же тогда победить, как не нам? Ты меня понял?

Я понял. Я его очень хорошо понял.

СТАРИК В МАДРИДЕ

...А после того как у меня завершились все встречи, мы с Дунечкой поняли, что совершенно свободны, и что хотя памплонская фиеста кончилась, Испания продолжается, и будет продолжаться вечно в каждом, кто смог понять этот замечательный народ, а Испания все-таки начинается с Мадрида — для меня, во всяком случае.

— Нет,— сказала Дунечка,— для меня все кончилось в Памплоне.

— Тебе не нравится Мадрид?

— Он — официальный.

Я хотел сказать Дунечке, что нельзя вот так, с маху, *обижать* — неважно, кого или что — человека или го-

род. Рассеянная невнимательность, даже если это врожденная черта характера, все равно обидна для окружающих: не вешать же себе на шею табличку — «заранее прошу прощение за мою невнимательность, рассеянность и категоричность — в принципе я добрый человек, не желающий никому зла».

Но я решил отложить эту сентенцию «на потом», а сейчас спросил:

— Ты что — уже обошла все его улицы? Видала его ранним утром у Сибелес, вечером на Гран Виа? Ночью возле средневековой Алкала? Днем у Карабанчели?

— Все равно,— сказала Дуня,— здесь очень длинные улицы и слишком много полиции.

— В Памплоне тоже была полиция.

— В Памплоне ее освистывали и прогоняли, когда она мешала фиесте.

Последний довод был справедливым, и я принял компромиссное решение.

— Знаешь что,— сказал я,— давай позвоним Кастильо Пуче и пройдем вместе с ним по тому Мадриду, который так любил Хемингуэй.

— А потом пойдем на корриду?

— А потом обязательно пойдем на корриду.

...В глазах у нее по-прежнему были маленькие белые человечки в красных беретах, повязанные красными кушаками, с низками чеснока на груди — она продолжала жить буйством Памплоны, и это на всю жизнь, и это прекрасно, и в будущем, думается мне, многие наши люди станут приезжать на фиесту, как — убежден — многие испанцы станут приезжать к нам на Родину — ей-богу, у нас есть свои великолепные праздники, которые стоит посмотреть: это тоже будет на всю жизнь у тех испанцев, которые приедут...

— Значит так,— прогрохотал в трубку Кастильо Пуче, шершавя мембрану жесткой бородой,— ты должен

через полчаса приехать в кафе-мороженое «Оливетти». Как, ты не знаешь, где «Оливетти»? Но это же за стадионом «Реаль Мадрид», и все «мадриленьёс» знают, где находится «Оливетти»!

Он полчаса объяснял мне, как туда надо проехать, а потом трубку взяла его дочь Таня и объяснила все за две минуты, и мы с Дуней поехали, и нас задержал полицейский, потому что мы нарушили правила, а поди их не наруши в сутолоке мадридских машин, их за год, что я здесь не был, прибавилось еще, по крайней мере, тысяч сто, и Дуня, побледнев, шепнула:

— Это «гвардия севиль»? (Она уже знала, что такое «гвардия севиль» — испанцы не очень-то скрывают своего отношения к этой полицейской организации.)

— Нет,— ответил я,— это обычный дорожный надзор, не волнуйся.

Полицейский потребовал мои права с каменным лицом и алчным блеском в глазах, не предвещавшим ничего хорошего. Он повертел мои права, потом посмотрел марку машины и спросил:

— Откуда вы и что это за «оппель»?

— Это не «оппель», а «Волга», мы из Советского Союза и пытаемся найти кафе-мороженое «Оливетти», которое в Мадриде знает каждый.

— Вы русские?!

— Да. Советские,— сказала Дуня, побледнев еще больше («совьетикос» выучить очень просто, «си» — то есть «да» — тоже, но она, бедняжка, всегда путалась с «кон» и «син» — то есть «с» и «без». Когда ее спрашивали, хочет ли она кофе с молоком, Дуня обязательно отвечала «син», что значит «без», хотя мечтала о «кон», что означает «с» оным).

— Вы русские,— повторил полицейский, возвращая мне права,— которые ездите на «Волге», не в силах найти «Оливетти»? — алчный блеск в его глазах потух, и

зажегся иной блеск — удивления, недоверия и интереса.— Это ж просто: обогните клумбу, возвращайтесь назад, поверните направо возле пятого светофора, потом круто налево, потом два раза направо, потом снова налево, пересеките авениду: вот вам и «Оливетти».

Он поднял палку, остановил поток машин и позволил мне нарушить все правила, какие только существуют на свете.

— Ну и ну,— сказала Дуня, а я ничего не сказал, потому что напряженно считал светофоры.

Кастильо Пуче ждал нас со своей старшей дочерью Таней. Мы выпили кофе и отправились по Мадриду, по хемингуэевским местам.

Жара была градусов под сорок, Дуня страдала, я наслаждался, Кастильо Пуче и Танюша не обращали на жару внимания, ибо, как настоящие мадриленьёс, они обожают в своем городе все — даже жару.

«Небо над Мадридом высокое, безоблачное, подлинно испанское небо,— по сравнению с ним итальянское кажется приторным,— а воздух такой, что дышать им просто наслаждение»,— писал Старик, но жизнь, увы, внесла свои коррективы: над Мадридом сейчас висит смог из-за того, что понастроили множество заводов, а улицы запружены машинами, и только ночью, если полнолуние и на Пласа Майор горят синие, под старину, лампы, можно увидеть звезды и черный провал небосвода и понять, что Старик — сорок лет назад — всегда мог видеть такое высокое, прекрасное небо не только ночью, но и днем, когда он работал в том отеле, который в «Фиесте» назвал «Монтана» и где он поселил свою Брет с Педро Ромеро, а на самом деле никакого отеля «Монтана» не было, а был маленький пансион на углу улиц Алкала и Сан Эронимо. Здесь, в этом маленьком пансионе, где жили вышедшие из моды матадоры, священники и студенты, молодой Старик снимал маленькую комнату и

писал в баре, что был на первом этаже, потому что в его каморке стояло лишь колченогое трюмо — стола не было, и в течение трех месяцев терпел обиды от постояльцев, которые издевались — но не очень злобно — над чудовищным испанским этого длинного «инглес», а потом, по прошествии трех месяцев, во время которых молодой Хэм каждый день прочитывал все мадридские газеты, говорил с людьми на улицах, слушал речь матадоров,— он стукнул кулаком по столу, когда шутить по его адресу стали особенно солоно, и на хорошем мадридском пульнул такой отборной бранью, которую употребляют «чуллос» — самые яростные матерщинники Мадрида, что все посетители сначала смолкли, а потом расхохотались и стали поить Хэма вином, и признали его своим, и никогда больше не смели потешаться над «инглес», потому что только испанец может говорить так, как сказал сейчас этот молодой репортер, только испанец, а никакой там не «инглес»...

Сейчас в том доме, где была гостиница «Монтана», которую Старик отдал Брет Эшли и тореро Педро Ромеро (чертовски красиво звучат три эти слова, поставленные рядом!), находится отель «Мадрид». Друзьям — а твои герои не могут не быть твоими друзьями, все без исключения, даже самые противные, потому что они словно больные дети, уродцы, но твои ведь — отдают то, что знают по-настоящему, где не наврешь и не запутаешься, а Старик очень хорошо знал те места, где он жил, и те страны, в которых он писал, а в Испании он писал свои лучшие вещи.

— Он говорил по-испански очень медленно,— заметил Кастильо Пуче, когда мы остановились напротив дома 32 на улице Сан Эронимо, где он жил в первые приезды,— и не совсем правильно, но в этой неправильности «кастильяно» была своя особая прелесть, потому что он говорил на очень сочном языке народа, ко-

торый обычно не в ладах с грамматикой, но зато всегда в ладах со здравым смыслом и юмором. Он умел чувствовать новое своим испанским...

... Не ради красного словца, а воистину — интеллектуал от литературоведения, даже самый утонченный, подобен мелкому базарному жулику, ибо новое — это хорошо забытое старое, а настоящее новое ныне появляется лишь в науке и технике, а в литературе это новое редкостно и тогда лишь является воистину новым, когда писатель выворачивает себя наизнанку, и не стыдится этого, и отдает всего себя читателю: ведь Александр Фадеев был и Левинсоном, и Метелицей, и Мечиком одновременно, как одновременно Александр Твардовский был Василием Теркиным, Борис Пастернак — лейтенантом Шмидтом, а Хемингуэй — Педро Ромеро, Роберто Джордано и Пилар и только поэтому свершалось чудо, а не унылое описательство, именовавшееся ранее беллетристикой, а сейчас — прозой. Но вывернуть себя дано не каждому, и это выворачивание обязано быть подтверждено знанием предмета, а предмет литературы — человек, но вне конкретики, вне правды окружающего, правды узнаваемой, доступной каждому, человек оказывается схемой, и не спасает ни порнография, ни былинный эпос, ни головоломный сюжет.

Во всех романах Старика, связанных с Испанией, торжествует поразительное знание этого замечательного народа, его городов, праздников, обычаев, литературы.

Это, однако, не помешало неким «вещателям» от критики напечатать в газетах в день его похорон: «Дон Эрнесто никогда по-настоящему не понимал Испании. Он слышал колокола, которые звонят, но не понял, где они звонят и по ком». Или — в другой газете: «По ком звонит колокол» построен на любви к красной Испании. Несколько образов националистов написано неточно, и в то же время он позволял себе оправдывать и про-

славлять тех испанцев, на стороне которых он был... Если он и понимал нас, то лишь наполовину...»

— Может быть, он понимал нас вполовину,— заметил Кастильо Пуче,— но во всяком случае он понимал нас лучше, чем мы его, и уж несравнимо лучше, чем мы — себя.

После войны Старик приехал в Испанию в 1953 году, когда было выполнено его условие: «Я никогда не посещу Мадрид до тех пор, пока из тюрем и концлагерей не освободят моих товарищей-республиканцев, всех тех, кого я знал и любил и с кем вместе сражался». Последний его друг был выпущен в пятьдесят третьем году, весной, просидев в концлагере четырнадцать лет. Тем же летом Старик пересек границу и прибыл на фиесту и снова начал изучать Испанию, испанцев, корриду, матадоров, молодых писателей, музей Прадо и Эскориал, Наварру, лов форели на Прати, мужество Ордоньеса и достоинство Домингина.

В Мадриде он останавливался в отеле «Швеция» на калье Маркиз де Кубас. Он занимал на четвертом этаже три номера: для себя, где он работал, когда писал «Опасное лето», для Мэри и для Хотчера. Журналисты знали, что он останавливается в этом трехзвездочном отеле («мог и в пятизвездочном, с его-то деньгами» — вопрос престижа для испанцев вопрос особый, а все отели разделены на пять категорий: от одной звезды до пяти звезд, и все знаменитости обязательно живут в роскошных пяти «эстреллас», а Папа позволяет себе и в этом оригинальничать. Старик не любил говорить о своих денежных делах, но однажды объяснил Кастильо Пуче, что из 150 000 долларов, которые ему уплатили за право экранизации «По ком звонит колокол», он получил третью часть — все остальное взяло себе управление по налогам). Журналисты, американские туристы и молодые испанцы подолгу ждали Старика в

фойе, а он выходил через тайную дверь на калье де лос Мадрасос и шел прямехонько в Прадо: когда ему не работалось, он ходил туда два раза в день, а когда пятьсот слов ложились на машинку и он облегченно вздыхал, выполнив свою дневную норму, а выполнять ее становилось все труднее и труднее, он ходил в Прадо только один раз — вместо зарядки рано утром. Вообще-то мне бы следовало написать не «вместо зарядки», а «для зарядки», потому что больше всех художников мира он ценил испанских, а из всех испанских — Гойю, ибо тот, по его словам, брался писать то, что никто до него не решался — не костюм, сюжет или портрет — он брался писать человеческие состояния.

Разность возрастов не есть состояние, это всего лишь приближение к состоянию, а в наше время эта возрастная разность все больше и больше стирается. Я наблюдал за тем, как Дунечка шла вдоль полотен Гойи, Веласкеса, Тициана и Рафаэля. Сдержанность нового поколения — предмет мало изученный социологами, и мне сдается, что молодые копают главный смысл и держат себя — в себе, и это далеко не нигилизм, это нечто новое, ибо мир за последние десять лет решительным образом изменился, его распирает от «заряда информации», мир приблизился к крайним рубежам знания, он, мир наш, похож сейчас на бегуна, вышедшего на финишную прямую. Когда я впервые смотрел Гойю, Эль Греко и Веласкеса, я испытывал особое состояние, я волновался, как волнуются, когда договариваются по телефону о встрече с очень мудрым человеком, про которого много слыхал, но ни разу не видел. А Дуня шла, сосредоточенно рассматривая работу великих так, как она рассматривает работы своих коллег по училищу живописи. И только когда Хуан Гаригес привел нас в зал Эль Боско, я увидел в глазах дочери изумление и открытый, нескрываемый восторг. Эль Боско на-

писал триптих: мир — от его создания до Апокалипсиса. Если прошлое в семнадцатом веке можно было писать гениально, то писать будущее, угадывая подводные лодки, атомные взрывы, межконтинентальные катаклизмы, — это удел провидца от искусства, это дар — в определенном роде -- апостольский. Информация, заложенная в поразительной живописи Эль Боско, настолько современна в своей манере, настолько молода, что можно только диву даваться, откуда такое пришло к великому гению Испании.

— А как тебе Гойя? — спросил я Дуню.

— Гойя это Гойя,— ответила она, не отрывая глаз от Эль Боско.— Им же все так восторгаются, и так много о нем написано, и такая у него «Обнаженная Маха» — просто чудо, как написано лицо, и кожу он писал поразительно...

— А Боско?

— Не знаю. Для меня — это больше, чем Гойя.

— Почему?

— Потому что раньше я не знала, что это возможно.

(Не в этом ли ответ на то, отчего молодежь стремится поступать в институты, связанные с тем, «что раньше было невозможно» — электроника, атом, революционная — в новом своем состоянии — математика? Я убежден, что форма преподавания гуманитарных дисциплин сейчас сугубо устарела, ибо преподаватели не стремятся найти в поразительных по своему интересу предметах истории, экономики, географии то, что «раньше было невозможно».)

— А теперь,— сказал Кастильо Пуче,— пойдем на площадь Санта-Анна, в пивную «Алемания» — там Папа работал в те дни, когда в Мадриде бывали корриды.

И мы пошли на уютную, тихую Санту-Анну и сели за столик пивной «Алемания».

— Здесь определен распорядок дня раз и навсег-

да,— продолжал Кастильо Пуче,— в десять часов пьют пиво журналисты, которые пишут о корриде,— их Папа не очень-то слушал, они слишком традиционны и не ищут невозможного. В час дня сюда приходят «ганадерос», а к ним Папа прислушивался, потому что они знали истинный толк в быках.

...Он сидел у окна, много пил и очень быстро писал свои отчеты для «Лайфа», которые потом стали «Опасным летом». Вечером, часов в девять, когда сюда приходят после корриды все и матадоры в том числе — он не любил здесь бывать, потому что шум становился другим, в нем появлялось иное качество, в нем было много лишнего, того, чего не было в дневном шуме, который, наоборот, помогал Старику работать, ибо то был шум не показной, наигранный, вечерний, когда много туристов, а шум, сопутствующий делу: такое бывает на съемочной площадке перед началом работы, и это не мешает актеру заново перепроверять образ, который ему предстоит играть, но зато ему очень мешает стайка любопытных, которых водят по студии громкоголосые гиды.

— Пойдем в «Кальехон»,— сказал Кастильо Пуче,— там Старик любил обедать.

И мы пошли в «Кальехон», и это было похоже чем-то на памплонскую «Каса Марсельяно» — такое же маленькое, укромное, свое место, где нет высоких потолков, вощеных паркетов и громадных колонн. Когда вы входите в укромный, тихий «Кальехон», на вас с осторожным прищуром сразу же глянет Хемингуэй: его портрет укреплен на деревянной стене, прямо напротив двери. Все стены здесь (как и во многих других ресторанчиках Испании) увешаны портретами матадоров с дарственными надписями. Когда мы поднимались на второй этаж, я обратил внимание на свежую огромную фотографию: это был Ниньо де ля Капеа, самый молодой и — отныне самый известный матадор Испании.

— Возьмем себе то, что обычно брал Папа,— сказал Кастильо Пуче.

Нам принесли «гаспачо андалус» — холодный томатный суп в глиняных блюдцах. Сюда, в эту холодную, такую вкусную во время жары похлебку, надо положить мелко нарезанные огурцы и поджаренный хлеб и перемешать все это, и получится некое подобие нашей окрошки или болгарского «таратора», несмотря на то, что наша окрошка рождена квасом, а «таратор» — кефиром. Потом Старик заказывал «гуадис колорадос» — крестьянскую еду, мясо с бобами, в остром, чуть не грузинском соусе, а после «арочелес» — рис с корицей.

Доктор Мединаветтиа, старый друг Старика, который наблюдал его в Испании, запретил ему острую пищу и сказал, что можно выпивать только один стакан виски с лимонным соком и не более двух стаканов вина, и Старик очень огорчился и долго молчал, когда пришел сюда, и выпил пять виски, а потом взял вино «вальдепеньяс», из Ла Манчи, и заказал много еды, так много, что вокруг него столпились официанты: было им жутковато смотреть, как Папа работает ложкой, ножом и вилкой — «неистовый инглес, этот Папа»...

— Отсюда мы пошли к Дону Пио,— продолжал Кастильо Пуче,— к великому писателю Баррохе, который умирал, и кровать его была окружена родственниками, приживалками, журналистами, фотографами; Папа купил бутылку виски, а Мэри передала свитер — «это настоящий мохер», добавила она, и это был бы очень хороший подарок, потому что Пио Барроха боялся холода, но подарок Мэри не пригодился, потому что через два дня Барроха умер. Старик надписал ему свою книгу и поставил на столик возле кровати бутылку виски, и сказал Баррохе, как он нужен ему, как много он получил от Дона Пио, от его великих и скорбных книг.

а Барроха рассеянно слушал его, осторожно глотая ртом воздух...

После, когда Старик вышел от Баррохи, он задумчиво сказал:

— Я никому не доставлю такой радости: умирать, как на сцене, когда вокруг тебя полно статистов, и все на тебя смотрят, дожидаясь последнего акта...

Именно в тот день, когда он был у Баррохи, Старик зашел в те два бара на Гран Виа, куда обычно он не любил заходить: в «Эль Абра» и «Чикоте». Он не любил заходить туда потому, что именно в этих барах он проводил многие часы с Кольцовым, Сыроежкиным, Мамсуровым, Карменом, Цесарцем, Малиновским, Серовым, когда он писал «Пятую колонну» и «Землю Испании», когда вынашивался «По ком звонит колокол», когда он был молод и не посещал доктора Мединаветтиа, и безбоязненно прииикал губами к фляжке с русской водкой, не думая о том, что завтра будет болеть голова и будет тяжесть в затылке, и будет ощущение страха перед листом чистой бумаги, а нет ничего ужаснее, чем такой страх для писателя...

...Когда мы назавтра возвращались с Дуней из Толедо, погода внезапно сломалась, небо затянуло низкими лохматыми тучами, а потом поднялся ветер, а после посыпало белым, крупным, русским градом, и это было диковинно в июньской Испании, и я вцепился в руль, оттого что шоссе стало скользким, и ехать было опасно, а Дунечка безучастно смотрела в окно, но это только казалось, что она безучастно смотрит, потому что она вдруг сказала:

— Остановись, пожалуйста.

Я остановился, и Дунечка достала из багажника этюдник и сделала углем набросок, а в номере отеля

достала краски, и запахло р а б о т о й — скипидаром и холстом, и она долго работала, а потом я увидел картину — огромное, сильное, синее дерево, согнувшееся от урагана, и черное небо, в котором угадывалось солнце, и бесконечная, красно-желтая земля Испании.

Символ только тогда делается символом, если в нем сокрыта правда, понятная тебе. Для меня эта картина сразу же обрела название: «Старик в Испании, 1960».

В шестьдесят первом году он прислал телеграмму в Памплону с просьбой забронировать его обычные места на корриду. За день перед вылетом он застрелился. Его отпевали в то утро, когда начался Сан-Фермин, фиеста, вечный его праздник.

Он не решился прилететь в Испанию сломленным, он решил уйти, чтобы сохранить себя навечно. Здесь, за Пиренеями, надо обязательно быть сильным, бесстрашным и уверенным в том, что скоро взойдет солнце...

«МНЕ ВОЗМЕЗДИЕ...»

Одна из главных метаморфоз современной Испании яснее всего просматривается не столько в громадном (это воистину так!) экономическом буме, не в степени его риска — неуправляемость подъема чревата внезапной катастрофой спада, не в размахе оппозиционности разных слоев населения (об этом доказательно пишет не только коммунистическая пресса, но и буржуазная, легальная), но — с моей точки зрения — в позиции церкви, которая прошла за последние годы поразительную с точки зрения скоростей эпохи эволюцию.

Помимо причин объективных, сегодняшних, социальных, я то и дело в рассуждениях своих обращаюсь к прошлому, к истории. Не стану повторять древних, кото-

рые утверждали, что «там, где процветают пороки, грешным оказывается праведник» — к современной испанской ситуации это может быть приложимо в обратном смысле. Скорее всего нынешнюю позицию испанской церкви следует объяснить как некое раскаяние, которым сплошь и рядом является поздно приходящее сознание. Нужно признать, что слова Гейне о том, что «с тех пор, как религия стала домогаться помощи философии, гибель ее неотвратима», перестали быть абсолютом: второй Вселенский собор, проведенный Ватиканом, проходил под знаком сращивания теологии и современной философии. Мне пришлось слышать в Риме энциклику папы: он говорил о нормах эстетики в период научно-технической революции — это показатель, и показатель серьезный — религия не хочет «отстать от поезда». Позиция Ватикана в период войны во Вьетнаме, во время израильской агрессии, в дни кипрских событий свидетельствует о том, что церковь все более и более поворачивается к социальной, а не догматической философии, и не только, видимо, потому, что кардиналы перечитывают Марка Твена, который писал: «Все, что церковь проклинает — живет; все, чему она противится — расцветает». Резон поворота к более гибким формам общения со светским миром значительно глубже: средства массовой информации заставляют служителей Христовых искать компромисса со знанием и политической реальностью, сложившейся ныне в мире.

В Италии, где гарантированы буржуазно-демократические свободы, это проще; в Испании— значительно труднее.

...Без анализа инквизиции, расцветшей на Пиренеях, понять ситуацию ныне «в мятежных епископатах» Мадрида, Гранады и Барселоны попросту невозможно.

...Комплекс вины социальной, общественной, классо-

вой — если оный все же существует — складывается из комплекса, присущего личности, вырвавшейся к праву познания. Таким можно, в частности, назвать преподобного отца Алегрия, брата бывшего начальника генштаба Испании, который восстал против режима и ныне практически лишен сана и своего епископата.

Комплекс передается генами, ибо тот или иной комплекс является одним из свойств человеческого характера. Я бы начал отсчитывать накопление генов вины у испанского духовенства с двенадцатого века, когда народы Европы осознали со всей трагической и безысходной ясностью, что святые отцы никак не способствуют их счастью. Озабоченный этим всеобщим брожением Ватикан считал, что отсутствие «дисциплины духа» на Западе и провал крестовых походов на Востоке пошатнули власть церкви и ввергли ее в состояние глубочайшего кризиса. Надо было искать выход из тупика: слово «священник» сделалось ругательным, служители культа опасались показываться на улицах в своих одеяниях, предпочитая парчовой сутане — потрепанный камзол ремесленника.

Двенадцатый век мог бы стать Возрождением, если бы папа Иннокентий III не отправил на юг Франции к мятежным и дерзким альбигойцам своих эмиссаров с чрезвычайными полномочиями: уничтожить ересь, наказать виновных, подавить очаги неверия, вернуть слугам церкви их прежнее положение — всемогущих пастырей духовных, которые отвечают и за мысли прихожан и за их деяния.

Европейцы были готовы воспрянуть; неизвестные миру Леонардо и Галилеи были близки к торжеству; свобода, которая есть проявление независимости духа, рвалась наружу. Но именно тогда в Экс-де-Прованс, Арль и Нарбонну явились эмиссары «Особой комиссии» папы — Пьер де Кастельно и монах Рунс, и началась

травля свободы. Тирания рождает протест: Пьер де Кастельно был убит, народ вышел на улицы, ощущая освобождение из-под гнета фарисейства и лжи. Раймонд, граф Тулузский, лидер альбигойцев, веселился вместе с плебсом — он наивно полагал, что тиранию столетий можно одолеть за день. Он был уверен в поддержке народа, он не был стратегом, который обязан учитывать возможности всякого рода и не торопиться в открытом проявлении торжества,— это особенно бесит тиранов.

Папа Иннокентий объявил крестовый поход против еретиков, и к членам «Особой комиссии» примкнул деспотичный Доминик с отрядом испанских фанатиков веры. Они лишь искали ересь — командующий армией Симон де Монфор предавал выявленных пыткам, а потом — казням: устрашение способствует наведению порядка. Запахло жареным мясом — костры пылали в Провансе, и смрадный запах человечины был донесен европейскими ветрами до Пиренеев. Поначалу народ Испании восстал против инквизиции даже более рьяно, чем французские свободолюбцы. В Лериде, что возле Андорры, был учрежден первый трибунал инквизиции. Каталония и Арагон были охвачены борьбой за право мыслить и жить так, как им того хотелось. Борьба была жестокой, трон переметнулся к религии; свобода была растоптана, и шестьсот лет на земле Пиренеев царствовала инквизиция, именуемая «Сант-Официо».

Сначала инквизиция уничтожала крамольный дух — тело всегда вторично. Одним из наказаний было «сан бенито» — одежда позора, помеченная желтыми крестами на спине и на груди.

Вот подлинный документ Доминика: «Мы примирили с церковью Понтия Росе, который милостью божьей отказался от секты еретиков, и приказали ему добро-

вольно дать священнику три воскресенья подряд провести себя в оголенном виде от городских ворот до дверей храма, избивая его при этом плетьми. Мы также повелеваем ему не есть ни мяса, ни яиц, ни творогу и никаких других продуктов животного царства, и это в течение всей его жизни... Поститься три раза в году, не употребляя рыбы; поститься три раза в неделю — и так до конца всей его жизни. Носить духовную одежду с нашитыми на спине и груди крестами. Читать «Отче наш» семь раз днем, десять раз вечером и двадцать раз ночью, а если вышеупомянутый Понтий от чего-нибудь отступит, мы повелеваем считать его клятвопреступником и еретиком». Последний пункт означал сожжение: этим занимался королевский двор.

Сжигали каждого, на кого доносили «добровольные друзья» инквизиции; нация раскололась на сжигаемых и сжигателей. Горе было тому, кто имел своим личным врагом «друга» Сант-Официо: дом его будет разграблен, дети брошены в тюрьмы, сам он — уничтожен.

Генерал-инквизитор Томас де Торквемада довел террор Сант-Официо до размеров небывалых. По его приказу все испанцы, начиная с двенадцати лет, обязаны были доносить «трибуналам веры» обо всех тех, чьи речи были подозрительными, поступки — странными, манера поведения — отличной от стандарта, утвержденного инквизицией. За недоносительство — сожжение, за колебания — тюрьма, за позднее раскаяние — лишение всех прав.

Торквемада лично утвердил свод пыток, наблюдая за муками невиновных в жутких казематах тюрем, которых стало столько же, сколько было храмов.

Первая пытка, наиболее, впрочем, мягкая, называлась «птичка». Жертве связывали руки за спиной толстой веревкой, пропущенной через блок, приделанный к потолку. Человека подтягивали под потолок, и хрусте-

ли суставы, и крик его был страшен, и он извивался на трехметровой высоте, освещенный зловещим светом факелов, а потом веревку отпускали, и несчастный падал на каменные плиты: человек захлебывался кровью, и его поднимали снова, и снова бросали, до тех пор, пока врач инквизиции не прекращал «поиска истины», опасаясь смерти «пациента», который был еще нужен «святому следствию».

Вторая пытка называлась «водичка». Жертву клали в желоб, повторявший форму человеческой фигуры, задирали ноги, привязывали намертво, так, чтобы человек не мог двигаться, затыкали рот и нос мокрой тряпкой и начинали осторожно лить воду на эту влажную тряпку: литр в час. Человек пытался захватить воздух и поэтому все время глотал эти страшные капли, и напряжение было таково, что, когда тряпку вынимали изо рта, она оказывалась пропитанной кровью — от жуткого желания вдохнуть воздух в горле пытаемого лопались сосуды.

Если и после этого еретик не открывал правды, начиналась пытка огнем: жертве мазали ноги маслом или салом и клали их на жаровню, и человек, заходясь в предсмертном крике, видел над собой слезливые глаза Торквемады — борца за чистоту веры.

Инквизиция предала огню и пыткам всех арабов и евреев, живших за Пиренеями после того, как несчастные отдали Сант-Официо свои сбережения, надеясь откупиться от гибели и ужаса. Тем несчастным, которые приняли христианство, было запрещено врачевать — неверные могут травить «друзей» инквизиции; им было запрещено посещать зрелища, университеты, библиотеки — знание не для «недочеловеков»; им было запрещено заниматься ремеслами, виноделием, землепашеством: вере не нужны иноверцы — даже бывшие.

Безумие инквизиции сделалось самопожирающим:

если на человека доносили, что он знает арабский язык, ему была уготована пытка, костер, глумление над его семьей, тюрьма — для всех знакомых. Уничтожался цвет нации, гибли лучшие умы, начиналось царство безумной тьмы, вакханалия безнадежности, аутодафе мысли.

Лицемерие, трусость, доносительство сделались высшей добродетелью. Достоинство, смелость и честность карались как зло. Людей доводили до состояния невероятного: испанский вельможа, дочерей которого обвинили в ереси, исхлопотал за огромные деньги святую милость: ему позволили во дворе своего замка воздвигнуть эшафот, приготовить дрова и самому подпалить костер, чтобы предать огню детей своих.

Даже Ватикан, встревоженный разгулом неуправляемой жестокости в Испании, пытался влиять на одержимого Торквемаду, обуреваемого видениями постоянного ужаса, окруженного охранниками и шпионами. Великий инквизитор был непоколебим: он восстал против папы, претендуя на то, чтобы самому стать над Ватиканом — там воевали словом, Торквемада — костром.

Он повелел сжечь на площадях все библии, ибо они были заражены духом иудейства.

Он присвоил инквизиции исключительное право на цензуру: ни один фолиант не выходил без санкции на то отцов Сант-Официо.

Университеты, созданные гением арабских ученых, были преданы огню.

Библиотеки иудеев — частью разграблены, частью укрыты в специальных хранилищах монастырей: знание развращает.

Террор инквизиции привел Испанию на грань экономического краха: неумение вести хозяйство поставило монастыри перед дилеммой: или хоть на какое-то время прекратить процессы против ереси, или вырвать свет-

скую власть из рук монархии и подчинить себе всю страну, без остатка — не только ее душу, но и тело. Однако последнее мнение могло повредить престижу святого дела — до этой поры казни проводили палачи короля, монахи лишь санкционировали *очищение убийством*.

Два епископа, Арий Давила из Сеговии и Петр де Арренда из Гвадалахары, настаивали на осторожной, точно дозируемой либерализации.

Торквемада обвинил их в сокрытом иудействе, нашел в их родословной неких бабок гнусных кровей и повелел заточить епископов в тюрьму. Папа Иннокентий воспротивился: епископ подчинен Ватикану, а не великому инквизитору. Торквемада казнил обоих накануне того дня, когда нарочный привез папскую буллу об освобождении несчастных. Высокие Пиренеи надежно хранили Торквемаду от гнева наместника христова, он не претендовал на мир, ему хватало Испании.

Казнив оппозиционеров, он принял закон, по которому еретики обязаны были гнуть спину и терять зрение в темных и сырых камерах, зарабатывая себе на пропитание: отныне инквизиция не намерена была тратить ни единого грана серебра на пропитание узников. Слабые и больные были обречены на гибель. Никакой либерализации; виноват тот, кто признан виновным, пусть он и погибнет. Нельзя нарушать начатое. Протокол обязан быть соблюденным, форма не имеет права быть поколебленной: донос — арест — пытка — суд (если адвокат слишком рьяно доказывает невиновность еретика — значит, он сам еретик и подлежит сожжению) — обвинение — казнь — ликование толпы: язычники были правы лишь в одном: зрелища и хлеб правят миром.

...Инквизиция в Испании была до 1820 года; она пережила римскую на триста лет.

Народ по каплям выживал из своего сознания ужас веков. Гром европейской революции помог испанцам увидеть солнце, и землю, и воды такими, какими они были.

Исторические параллели — вещь опасная, это истина, однако революция в России родила революцию в Испании.

Проблемы, сотрясающие ныне мир, породили за Пиренеями новую реакцию — неприятия навязываемого, протест против изоляции и темноты.

Многие испанские пастыри, ощущая свою вековую вину, дают ныне приют в своих храмах коммунистам, людям из «рабочих комиссий», социалистам, анархистам и социал-демократам.

История развивается циклами: там, где раньше еретиков предавали торжествующей анафеме, ныне прячут от полиции.

Инквизиция исчезла в Испании сразу, в один день, будто ее раньше и не было вовсе.

Я боюсь пророков — в них есть нечто от кликуш.

Я верю истории, я верю испанцам, и — поэтому — я верю в будущее.

«АДЬОС, АМИГОС!»

Машина забиралась все выше и выше в горы, а это уже была Каталония, пограничная с Францией, и великолепное побережье Коста Браво кончилось, и море становилось все более далеким, а потому — спокойным, ведь издали даже смерч кажется нестрашным, а уж волна в два балла и вовсе исчезает с высоты — оста-

ется одно лишь ощущение литого могущества, и в этом воистине литом могущественном море, цвет которого подобен остывшей после разлива стали, торчали крохотные, круглые, черные головки, и казалось, что это — поплавки на воде, а на самом-то деле испанчики прыгали возле берега (как и все нации, окруженные водой теплого моря, они отменно плохо плавают — редко кто умеет), а по радио передавали песню Серрата «Адьос, амигос», что значит «Прощайте, друзья», и мы с Дунечкой переглянулись, и Дуня сказала:

— Как по заказу.

И вздохнула, и еще пристальней круглые глаза ее стали вбирать лица испанцев, дома Испании, горы и небо, море и острова вдали, и еще пронзительней и безысходнее пел Серрат, он сейчас пел словно для нас одних.

— Сколько же мы с тобой проехали Испаний? — спросил я.

— Одну,— ответила Дунечка.— Хотя в чем-то ты прав: для меня главная Испания — это Памплона.

— А страна басков?

— Ты имеешь в виду маленькие улочки Сан-Себастьяна, по которым ходят рыбаки в синих робах, синих беретах, с тяжелыми руками, обросшие щетиной, как пираты?

— Не только. Вспомни запах сыра, вина, дымков в маленьких тихих деревеньках, прилепившихся к склонам гор.

— Вообще-то верно,— согласилась Дунечка.— В стране басков очень хорош серый цвет. В нем угадывается много голубого, а за этим голубым, даже скорее в этом голубом, сокрыт цвет красный.

— А разве Ла Манча, дорога Дон Кихота, не есть третья Испания?

— Да,— сказала Дунечка.— Там поразительный бе-

лый цвет. Я никак не могла поймать его, когда пыталась рисовать мельницы у Кампо де Криптана, это какой-то совершенно особенный белый цвет, он словно бы насквозь продут полынным ветром.

— Вот видишь,— я пробормотал два идиотских слова, чтобы как-то пережить восторг — очень уж точно и красиво сказала дочь.

(У нас в Институте востоковедения преподавал профессор Яковлев. Грузный, огромный старик, чуть поволжски «окающий», блестящий лингвист, он однажды предложил нам заменить все слова-паразиты, типа «вот видишь», «так сказать», «знаете ли» — словесами более определенного качества, которые в свое время были исключены из «Толкового словаря» Владимира Даля. Этим своим предложением он покорил студентов сразу же и навсегда.)

Дунечке, верно, понравилась игра в «разные» Испании, и она спросила:

— А потом?

— Суп с котом,— ответил я.

— Нет, а правда... Какая потом была Испания?

— Был Мадрид.

— Это столица Хемингуэя.

— Если бы Мадрид не был столицей Сервантеса, Эль Боско, Веласкеса, Лопе де Вега, Гойи, Баррохи, Унамуно, Манолете, он бы не стал столицей Старика. Прадо в Мадриде, не забывай об этом.

— Тогда уж загнем еще один палец: Толедо тоже совершенно особая Испания, такая же особая, как Сеговия, хотя расстояние между ними можно покрыть за час.

— Ладно. Будем считать, что Мадрид, Толедо и Сеговия были нашей следующей Испанией. Возражений нет?

— Возражений нет. А потом?

— А потом была Севилья.

— Севилья — пятая Испания,— согласилась дочь,—

а ее старинный центр Санта-Крус — шестая. А Ла Манчу мы назовем аванпостом Андалузии, номер ей давать как-то очень уж неудобно.

— Ладно. Давай назовем Ла Манчу так, как ты предлагаешь. Продутая полынным ветром Ла Манча, аванпост Андалузии... А что тебе больше всего понравилось в Севилье?

— Когда Маноло посадил нас в свою пролетку и повез мимо табачной фабрики имени Кармен-Мериме по городу.

— Цок-цок, перецок? — спросил я.

— Да... Запах коней во время жары — совершенно особый.

— В чем его особость?

— Когда я ощущаю этот запах, мне легко нарисовать рыцарей, семнадцатый век и воду Гвадалквивира... И то, как зеленеет наш березовый лес,— тоже. И Домбай. А особенно — Алибек, возле кладбища альпинистов.

— А ты заметила особенность Севильи? В том, как Испания — при всей открытости испанцев — умеет скрывать себя?

— Это когда маленькая калитка, а за ней начинается чудо — изразцовый двор, диковинные деревья и кусты, маленький бассейн — ты об этом?

— Об этом.

— Я это заметила еще в Наварре.

— Где?

— А помнишь, рядом с нашим отелем строился дом? Он был укрыт бамбуковыми сетками — нельзя увидеть, что они там строят до тех пор, пока не закончат. Они любят чудеса, эти испанцы. Чтобы сначала бамбуковые сетки, все время бамбуковые сетки, безликие, омерзительные, пропыленные, а потом — вдруг — раз! — и вот вам прекрасный дом!

...Ассоциативность мышления — штука довольно за-

нятная. Это как хороший бильярд, когда удар «своим» по пирамиде рождает новое качество стратегии на шершавой зелени сукна. Дунечка сказала о желании удивить чудом, а я сначала вспомнил Японию и Китай — там точно так же скрывают задумку зодчих (у нас-то все нараспашку — новый дом словно бы выпирает из тоненьких палочек «лесов»; открытость характера проявляется и в этом), а потом я вспомнил тот дом в Наварре, что был напротив нашего отеля в Памплоне, а после я увидел фиесту, и людей на улицах города, и память сфотографировала несколько лиц; я был волен распоряжаться ныне этими случайно увиденными лицами, потому что они отныне принадлежат мне, и сразу выстроился сюжет: она, прослышав, что на Сан-Фермин приезжает много богатых грандов, экономила весь год, чтобы набрать денег на наряды: он, прочитав где-то, что среди гостей Сан-Фермина бывают коронованные и некоронованные миллионерши, весь год отказывал себе в еде, набирая денег на отель и на аренду машины. И они встретились. И провели вместе день, вечер, ночь. А утром все поняли друг про друга. Что их ждет? Разочарование? Счастье? Слезы? Не знаю. Если сюжет ясен, писать неинтересно. Тогда лишь интересно писать, когда идешь по лабиринту и не знаешь, что тебя ждет за углом, и какой сюрприз приготовят тебе герои на следующей странице. Если ты легко управляешь своими персонажами — грош цена такой литературе. Нет, ты должен быть управляем ими, только тогда ты сможешь считаться с ними, а считаться — это одна из форм почтительного уважения, настоянного на капельке страха. Капелька страха — это не так уж дурно, плохо лишь, когда его много...

— А седьмая Испания была? — спросила Дунечка.

— Как ты думаешь?

— Наверное, все же была. Немецкая Испания...

— От Кадиса до Сеуты, да?

— Да. На всем побережье одни немецкие отели.

Это верно. Мы проехали от Кадиса до Сеуты, мимо грозной махины Гибралтара: почти все отели — маленькие, тихие, принадлежат иностранцам, чаще всего — немцам, старым немцам. Молодежи здесь нет, люди приезжают солидные, лет шестидесяти. Они очень любят чистоту, порядок и тишину. А еще они любят веселиться, организованно веселиться. Веселье начинается — для Андалузии — смехотворно рано: в восемь часов вечера. В это время андалузцы еще только-только просыпаются: время сна после обеда — святое время. Они еще только-только готовятся к настоящему отдыху, который начнется часов в одиннадцать и закончится к четырем утра. Младенцев до трех лет уложат, конечно, пораньше — часа в два, нечего детей баловать!

В каждом немецком отеле роль затейника выполняет хозяин. Дикий хохот стоял, когда к ноге солидного клиента привязали воздушный шарик и ему нужно было протанцевать со своей дамой старомодный фокстрот, не раздавив каблуком этот розовый, столь любимый детьми всего мира, беззащитный, летающий, нежный воздушный шарик...

(Время — с моей точки зрения — суть величайшее проявление пространства, но, в отличие от пространства, оно ограничено и быстротечно; память — одна из форм времени. Я ничего не мог поделать с собой — наблюдая этот старомодный фокстрот с воздушным шариком, который в конце концов был раздавлен каблуком солидного, я то и дело возвращался к тому прошлому, которое стало прошлым ценою двадцати миллионов жизней моих соотечественников на фронте борьбы с фашизмом.)

...Веселье носит строго регламентированный характер: полчаса на фокстрот, час на анекдоты и аттракцио-

ны, час — на бутылку шампанского, оно здесь довольно дешево, час — на любование испанскими танцами: это андалузцы приходят в одиннадцать, и шали сеньорит повторяют движения мулеты в руках матадоров, и взгляды обжигают — стремительные, прикасающиеся, и движения округлы — при всей их кажущейся резкости, и таинственность, тишина тихого темного дворика, испанская особая закрытость угадывается в яростной открытости танца...

— А теперь, майне дамен унд херрен, гуте нахт, пора спать! — возглашает хозяин-затейник ровно в одиннадцать тридцать, и все солидные, как по команде, отправляются по номерам отеля «Фламенго», где мы с Дунечкой провели два дня, а испанцы уходят в свои таверны — там собираются приличные люди, которые умеют веселиться и танцевать без организации, а по собственному побуждению только так и никак иначе.

Мой приятель, испанский бизнесмен, когда я спросил его о причинах столь легкого права продавать испанскую землю иностранцам, ответил:

— Если мы когда-нибудь поругаемся с той или иной страной, ее граждане — собственники нашей земли — уедут; их гостиницы и заводы на нашей земле останутся. (Французы, впрочем, на этот счет придерживаются другой точки зрения, как и британцы, не говоря уже о немцах...)

— А восьмая Испания? — спросила Дуня.— Торремолинос возле Малаги, да?

— Нет. Пожалуй что, восьмая Испания — это Кадис.

...Я привез дочку в Кадис в два часа ночи — мы поздно распрощались с Севильей, с нашим пансионатом «Флорида» (привет Старику!), потому что днем ездили на «финку» к Миура, лучшему поставщику быков для корриды. Это его бык убил Манолете в Барселоне, и то, что именно миуровский бык лишил жизни самого крас-

вого матадора Испании, принесло Миуру высшую славу: парадокс Испании, где «смерть после полудня» на Пласа де Торос является предметом изучения направленных разностей двух сил,— матадоров и быков.

Миура — жилистый, быстрый, никогда не выезжающий из Андалузии, показал нам свою маленькую, без трибун Пласа де Торос, где весной после Севильской ярмарки собираются Ордоньес, Домингин, Кордобес, Пуэрта и работают с коровами в полной тишине, и зрителей — кроме Миура — всего человек пять, потому что сейчас совершается великое таинство: по характеру возможной матери торо, определяют прав будущего грозного противника матадора. Если мать агрессивна, быстра и умна, ее выдают замуж за самого лучшего быка, и рождается маленький, нежный, тихий, тонконогий теленок, и пасется на жарких полях Андалузии, и приникает мягкими, теплыми губами к редким голубым ручейкам — поздней осенью или ранней весной, и становится — по прошествии четырех лет — яростным и грозным, и подходить к нему нельзя: только на «додже» или на коне — «кабальо», да и то осторожно, и рога у него, как скальпели, и он будет сражаться против матадора с желанием одним лишь — убить этого маленького человечка, и будет сам убит, но на полях Андалузии уже пасутся его сыновья — с мягкими, теплыми губами, еще не перешагнувшие тот рубеж, который отделяет податливую доверчивость дитя от яростного неприятия состоявшегося зверя.

Так вот, мы задержались у Миура, который подарил Дунечке рог быка с его, миуровским, тавром, и это был ценный подарок для всей «афисионадо» корриды, а Дуня подарила Миура «хохлому», и он пригласил нас весной на церемонию отбора матерей, и мы поехали в Кадис, а там я завел дочь в портовый кабачок, известный мне уже лет пять — с тех пор, как я начал

ездить в Испанию, и Дунечка смотрела на оборванных нищих, просивших подаяния у пьяных матросов, она с ужасом глядела на пьяных проституток, сутенеров при бабочках и в канотье, на гангстеров с белыми от наркотиков лицами, и я не боялся показывать ей это дно, потому что формирование идеологии не складывается из посещения одних лишь музеев: жизнь — сложная штука, и надо видеть все ее разности, чтобы понять одно, главное.

Я несколько раз видел наши туристские группы в Париже и Мадриде. У подъезда отеля стоял автобус, три раза в день был накрыт стол в ресторане, заботливые гиды вручали каждому билетики в театры и музеи. Взрослых людей опекали, словно малых детишек, а я вспоминал, как в Канберре, а потом в Сиднее, когда прошлое, консервативное австралийское правительство отказало мне во въезде в Папуа и Новую Гвинею, а журналисты помогали мне, и писатели тоже помогали, и ученые помогали сражаться с бывшим министром подопечных территорий Барисом, мне приходилось по два-три дня ограничиваться завтраком, который входил в стоимость номера в мотеле, чтобы сохранить деньги (будь она трижды неладна, эта «свободно-конвертируемая»!) и устроить «коктейль» для новых друзей...

(О том, как в Испании учатся выкачивать деньги из людей, свидетельствует занятный штрих: сейчас телефонный разговор учитывается не минутой, а секундой. Официальная пропаганда трубит, что это введено «для пользы нации». А что получается на самом деле? Раньше вы говорили две минуты и двадцать пять секунд, но это было две минуты все-таки! Испанцы — да при их-то любви к разговорам! — жалуются: «Сейчас слово не произносишь, а высчитываешь. Никаких лишних «ля-ля» — сразу о деле. Раньше фраза звучала, например, так: «Доктор, у моего мужа шалит сердце... Что? Не

знаю... Перебои, ему кажется. Какой пульс? Педро, посчитай пульс, одну минуточку, доктор...» Теперь все иначе: «Сердце!» — кричишь в трубку. Доктор отвечает: «Тысяча!» Это стоимость визита. В зависимости от того, есть ли у вас такие деньги, вы отвечаете «да» или «нет» и с ужасом бросаете трубку на рычаг — сколько там уже накапало?!)

Наши туристы на Западе не знают, что такое истинная стоимость номера в отеле; не знают, во что обольется им приступ аппендикса; не знают той г л у б и н к и, через призму которой можно увидеть р а з н о с т и, а по этим разностям поставить для себя диагноз общественной болезни. Не пьянство страшно — само по себе, но отношение к нему: наплевательское пренебрежение, н е з а м е ч а н и е проблемы свидетельствует об общественном равнодушии («Он ведь нализался, мне-то какое дело?!»), о разобщенности людей — а что есть страшнее человеческой р а з о б щ е н н о с т и?!

Может быть, иные моралисты упрекнут меня за то, что я показал шестнадцатилетней дочери д н о того мира, но ведь понимание истины приходит не только с помощью слова (хотя смешно отвергать пользу проповеди), настоящее понимание приходит и с помощью зрения, ибо «имеющий глаза — да увидит».

Философия капитализма просматривается в п р а к т и к е портовых кабаков Кадиса страшней и ярче, чем в десятке разоблачительных статей, ибо это — в о о ч и ю.

— Да,— сказала Дунечка, — восьмая Испания такая же страшная, как и седьмая...— Она вдруг усмехнулась.— Лучше бы мы ее посчитали пятой — Пятая колонна... А девятая?

Ей понравилась эта игра — она даже не так страдала от жары, нестерпимой, видимой, сорокапятиградусной (спасибо, родной наш Горьковский автозавод — «Волга»

переносила эту жару отменно и обгоняла всякие там «шевроле» и «пежо», и я был очень горд этим!).

— А вот девятая — это Торремолинос. Нет?

— Точно,— согласилась Дуня.— Сумасшествие, а не город. Двадцать первый век.

Туристский бум Испании — явление, которое стоит внимательно изучить: тридцать четыре миллиона туристов в год на тридцать пять миллионов испанцев — это что-то значит! Пятнадцать лет назад Торремолинос, крупнейшего туристского комплекса Средиземноморья, не было. Несколько домишек, обрыв, песок, галька, море. И все.

С привлечением иностранного капитала здесь вырос первоклассный комплекс. Сейчас Торремолинос — самый известный курорт на Западе, сюда прилетают не только скандинавы и немцы, но и американцы. Город кажется надземно-подземным: супермаркеты расположены в подвалах, залитых искусственным неоново-солнечным светом, кабаки подняты на пятнадцатые этажи, рулетки затемнены где-то посредине.

Бизнес учитывает психологию клерка, инженера, дантиста — в первую очередь (смешно говорить об учете интересов рабочего или крестьянина, Торремолинос не для т р у д я г такого уровня, хотя я никак не смею принижать значимость труда среднеэлитарной прослойки, о которой говорил вначале).

Умные социологи Запада, работающие на бизнес, объясняли мне:

— Надо учитывать психологию середины. Клерк или инженер каждый вечер смотрит по ТВ фильмы, где ему показывают сладкую жизнь, голоспинных томных красавиц, шулеров в трескучих смокингах, миллионеров, словом, тот набор штампов «светской хроники», который так манит н е с в е д у щ и х. Следовательно, мы должны — если хотим получить прибыль — так постро-

ить курортный центр, чтобы там, в одном месте, выкачать из мечтателя все деньги, которые он копил целый год, чтобы пожить по-настоящему, как живут сильные мира сего. Мы не имеем права — если хотим получить прибыль — выпустить человека за пределы нашего комплекса: если люди станут ездить из Торремолинос в Малагу, чтобы там играть на рулетке, или смотреть концерты фламенко, или покупать в тамошнем супермаркете ботинки, или кататься на водных лыжах, или есть японскую или французскую еду — мы прогорим. Мы обязаны предоставить всякому, приехавшему на Торремолинос, возможность истратить накопленное. Поэтому бары обязаны работать круглосуточно; поэтому должны быть все кухни — полинезийская в том числе; сауны; комнаты игр (это, правда, для студентов, но все равно, как говорится, и с них «детишкам на молочишко», с каждого аттракциона — песета кап-кап); супермаркеты; дорогие магазины французской парфюмерии; станции по аренде машин; круглосуточно работающие обменные конторы банков; телефон и телеграф; бассейны, теннисные корты, лучшие парикмахерские, салоны красоты и массажа...

(Практика социализма, отбросив изначалия этого размышления — «полуэлитарность» и «выкачивание денег»,— позволяет нам серьезно подумать над принципом комплекса отдыха. Я не убежден, что это так уж разумно, когда наши курорты обязаны засыпать в двенадцать, и негде перекусить в полночь, и потанцевать нельзя. А если рабочие юноши и девушки, студенты на отдыхе захотят танцевать в час ночи? Тогда как? Забиваться в квартиру, где нет предков? А если фронтовые друзья встретились в два часа ночи на вокзале? Идти к таксисту за бутылкой? Или целесообразней открыть маленький ночной ресторанчик, где приятнее выпить рюмку с закуской, чем «из горла́»?)

— А десятая? — спросила Дуня.— Была такая Испания?

— Наверное, это Малага,— ответил я,— и бой быков, который там проводят для американских туристов,— оперетта, а не коррида. Помнишь, как улюлюкали испанцы своим матадорам?

— Но там ранили Хосе Руиса. И это не была оперетта: он сделался серым, когда упал, а когда его выносили с арены — помнишь — у него нос заострился и стал синим, как у покойника...

— Вот поэтому я и говорю про десятую Испанию в Малаге. И еще вот почему: тот гараж, куда мы ставили машину, назывался «у кафедрала». Для туристов удобно — ориентир хороший, но это, в общем-то, симптом: коммерческому предприятию давать имя старинной церкви — раньше такое было невозможно и в одной из Испаний...

— Одиннадцатая Испания — это Гранада,— убежденно сказала Дуня.— Альгамбра.

— Ох, уж эти испанские гласные,— сказал я.— Наверняка бюро правки в наших редакциях будут терзать меня по поводу точности правописания. Напечатано в проспектах — «Альгамбра», а если спросить в Гранаде, «где находится Альгамбра», тебя не поймут, потому что надо спросить «Альхамру», а не какую-то «Альгамбру», такой и нет вовсе!

(Занятно, немцы никогда не говорят про французские машины «пежо» так, как это принято во французской грамматике. Они произносят все буквы: «пегеоут», и никто в латинскоговорящем мире понять их не может: немецкий, как и русский — языки аналитические; латинские — синтетические, особенно испанский — солнца много, темперамента еще больше, торопятся, кровь кипит, слова глотают, не то что какие-то там гласные!)

— Севильская Мавритания менее интересна, чем гра-

надская,— продолжала Дуня,— потому что более страшна. Помнишь, в замечательные арабские залы вмонтированы, как плохие декорации, комнаты французского стиля? Христианство боролось с арабской культурой по-вандальски... А в Гранаде все же сохранили арабские дворцы Альгамбры, хотя и построили среди парка чудовищный дом христианина Карла Пятого — он как урод среди сильфид...

Действительно, севильская конвергенция христианства и мусульманства носит характер чудовищный: глумление над замечательным искусством арабов было демонстративным: в поразительные по своей красоте росписи стен забивали гвозди, чтобы повесить тяжелые, безвкусные гардины и приляпать подсвечники, вывезенные из Парижа.

Вообще-то Испания растворяет в себе иные культуры очень быстро: неподалеку от Эскориала есть маленький Версаль, построенный одним из французских — по крови — королей Пиренеев. Король этот, однако, очень быстро забыл свое парижское начало, пошел войной на прежнюю родину, а в «испанский Версаль» даже и не наведывался — предпочитал Эскориал — там стены надежные и больше выходов: около двух тысяч дверей и окон...

(Мусульманская культура, попавшая в жернова инквизиции, не имела права на такого рода ассимиляцию и растворение — она была обречена на уничтожение.)

— А двенадцатая Испания — это Барселона, нет? — спросил я.

— О, да,— улыбнулась дочь,— это уж наверняка совсем не похоже на все другие Испании.

...Мы миновали Валенсию поздно вечером, и было там еще шумно и весело, но не так уже, как в Андалузии, и приехали в Каталонию в полночь, не страшась

остаться без ночлега, потому что привыкли останавливаться в маленьких городках Ла Манчи далеко за полночь и видеть людей на улицах и в скверах, а здесь все уже спало, и ни души не было на улицах, и мы с трудом нашли двух старух в черном, похожих на ночных бабочек, которые бегали по узеньким переулочкам Кастиль де Пель, показывая нам путь к пансионату, «где хозяин ложится спать не так рано, не в десять, а в полночь, наверное, он водится с духами или занимается алхимией, но все равно он человек хороший».

Действительно, Каталония отличается от Андалузии и Наварры резко. Но что странно — маленькое суденышко Колумба, навечно пришвартованное к масленому пирсу порта, принесло в Латинскую Америку дух Кастилии и Андалузии, а не Каталонии: в Перу, Эквадоре и Панаме торжествует андалузский дух — и в манере общения, и в том, что спать ложатся далеко за полночь, и в том, как любят корриду (в Каталонии ее не понимают), и в песнях, и в том даже, как двигаются шали на плечах у сеньорит во время хоты — точно мулеты матадоров на Пласа де Торос.

...Нигде так много не говорят сейчас о национальном вопросе, как в стране басков и Каталонии.

— Если все время повторяют слова о том, что «мы — единая нация»,— заметил мой приятель-журналист,— то, значит, не совсем мы единая нация, ибо очевидное не нуждается в каждодневном напоминании.

Национализм — явление слишком сложное, чтобы разбирать его, приложимо к одной лишь Испании. Каталония ближе к Франции, и бередит ее дух мятежных альбигойцев, первыми восставших против инквизиции. Скорее всего национализм Каталонии рожден близостью к иной — в чем-то — социальной структуре (впрочем, структура одна, качество ее о ф о р м л е н и я разное).

Когда народ пользуется свободой — рождается патриотизм, когда царствует угнетение — пышным цветом расцветает злое семя национализма. Причем, естественно, здешний национализм носит ярко выраженный буржуазный характер. Когда служащий говорит тебе о «проклятых кастильцах», которые правят нашими заводами и портами, приходится только диву даваться и лишний раз сокрушаться по поводу человеческой слепоты: ну, ладно, ну, «проклятые кастильцы», но ведь заводы принадлежат не им, не «мадриленьёс», а «своим», здешним каталонским капиталистам, и это они, свои, здешние, гонят рабочих в трущобы, лишают их детей школ и больниц, поднимают цены на мясо и хлеб... Увы, искать причины зла «вовне», вместо того чтобы понять его «внутри»,— типично для людей, лишенных общественной идеи...

...«Адьос, амигос»,— пел Серрат, всячески подчеркивая свой каталонский акцент. «До свиданья, друзья»,— пел он, и мы подъезжали к Порт-Бу, границе Испании, и в сердце у нас была грусть, оттого что расставание с замечательным народом Испании — это как прощание с полосой жизни, это как прощание с другом, и утешали мы себя только тем, что «адьос» не несет в себе безысходного «прощай», все-таки это,— если отвлечься от скрупулезно-точного перевода «бог с тобой»,— чаще всего ощущаешь, как «до свиданья».

До свидания, испанцы! Адьос, амигос! До встречи, друзья...

ВЕРОНА, ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Дуня сказала:

— Италия — двухцветна, как кинематограф прошлого: сплошное черно-белое.

Действительно, страда, которая разрезает север страны,— от Франции до югославской границы,— прорублена сквозь скалы; громадные тоннели, освещенные желтым неоном, возникают один следом за другим. Добрая сотня тоннелей — не успеваешь видеть страну, потому что либо ты несешься по средневековому гроту, организованному мощью современной строительной техники, либо чуть не паришь над землей, ибо страда поднята на стометровые быки, и кажется, что вся Италия — это крохотные домики под черепичными крышами, и по узеньким шоссе «местного значения» ползут машины далеко внизу. Движение на страде трехрядное: в одну, естественно, сторону; навстречу тебе машины несутся по таким же трем рядам, и если днем это просто восхищает (индустрия дорогостроения в Италии совершенно поразительна, а потому — прибыльна), то ночью в этом состязании надежных скоростей, гарантированных маневренностью пространства, видишь воочию XXI век.

Эти новые страды, прорезавшие Италию с запада на восток и с севера (Венеция) до юга (Неаполь), уже сейчас породили новую, нерешенную проблему эстетики: человек отринут от прекрасного пейзажа, от сказочных средневековых замков — все внимание сосредоточено на дороге. За рулем, в большинстве своем, сидят люди, хорошо знающие пейзаж, ибо страды эти построены недавно. А как быть с будущим поколением, которое призвано экономить время, подчиняясь новому ритму жизни, порожденному веком сверхскоростей? Мы боимся конформизма, но не родит ли податливая сверхскорость конформизм всеобщий, устремленный в серую ленту асфальта, не станет ли он нормой жизни — вне законопроектов, его предписывающих?

Мои итальянские друзья шутят: «Вся надежда на дальнейшее увеличение энергетического дефицита — до-

роговизна бензина заставит людей ездить по маленьким, бесплатным дорогам». По извилистым, узким шоссе «местного» значения, этим узеньким дорогам, медленно, как божьи коровки, ползут машины. За проезд по ним не надо платить, как здесь, на верхотуре, где скорость практически не ограничена. По рассуждении здравом лучше уплатить тысячу-другую лир и не страдать в «нижних» пробках; там больше сгорит бензина, а цены на бензин в Италии уже сейчас чудовищные — нужно выложить двадцать шесть долларов, чтобы залить бак «Волги». Однако расчетливая жадность традиционна и въедлива, как блуд — дошлые маленькие буржуа надеются на чудо: авось пробки не будет, авось проскочу по нижней, бесплатной дороге, авось повезет. Туристы, впрочем, оправдывают заведомо неразумную расчетливость («привычка — вторая натура»), которая в конце концов оборачивается финансовым проигрышем тем, что убеждают семейство в желательности «рассмотреть Италию с ближнего расстояния». Это было бы резонным, коли б можно было рассмотреть, но — нет: и на маленьких дорогах успевай оглядываться на сумасшедших здешних шоферов, которые с легкостью необыкновенной и с такой же быстрой итальянской страстностью могут оттеснить тебя в кювет, помахав при этом ручкой: «Аривидерчи!»

Миновав Геную, протолкавшись с трудом в Раппало (туда ведет только «местная дорога»), мы с Дунечкой обошли сотни метров на пляже в надежде найти местечко, чтобы полежать после стремительных гонок от Монте-Карло сквозь тоннели, когда скорость р е в е т в ушах, обретая состояние слышимости, словно бы ты и не за рулем машины, а у пульта ракеты. Отчаявшись пристроиться на пляже без опасения отдавить ногу или руку соседа — воистину здесь, возле отеля, где был подписан исторический Раппальский договор, народу, как

сельдей в бочке,— мы сели в машину и отправились искать ночлег. (Проезжая Раппало, я лишний раз подивился стремительности развития туристской индустрии, которая превратила маленький курортный городок в махину, поглощающую сотни тысяч пришельцев со всего мира: пора бы уж нам понять огромную выгоду туризма — до сих пор мы ходим по деньгам, которые надо поднять — стоит только нагнуться.)

...Кто-то из работников нашего «Интуриста» умно пошутил: «Наш сервис ненавязчивый». Браво! Я не собираюсь брать под защиту ненавязчивость нашего сервиса (нам до истинного-то «семь верст до небес и все лесом»), все же — истины ради — надобно сказать, что распространенное представление, что, мол, «там, у них», проблема ночлега решена так же успешно, как выпуск женских платформ,— далеко от правды. Мы с Дунечкой объехали десяток отелей, пансионатов, частных домов с вывесками: «циммер, рум, шамбр», и всюду нам отвечали сухо и бескомпромиссно:

— Все номера сданы до конца лета.

И при этом даже не прибавляли:

— Очень сожалею.

(Это вам не испанская вежливость!)

Словом, сама жизнь столкнула нас на маленькую дорогу, но и здесь все отельчики, бунгало, кэмпинги были забиты — и так будет до сентября,— и мы поехали на север, к Милану, но встретившаяся нам американская семья сказала, что в Милане тоже ночевать негде, и что сами они уже третий день спят в машине, и дети не мыты неделю, и мы свернули на грейдерный проселок, но и здесь нас постигла неудача — все туристы умные, и мы тогда отправились к озеру Ля Гарда и объехали это озеро и все те места, где жил Габриэль д' Анунцо, и фары (мы приехали туда, когда уже было около полуночи и все спали, это вам не Андалузия, где все только и начи-

нается в полночь) выхватывали маленькие домики красивых, тихих городков Сан Виджилио, Торри, Кастелетто, Сало, Десенцано, Сирмионе, и мы обошли все отели, которые попадались на пути, и будили сонных портье, которые теплели лицом, получив свои сто лир, но все равно сокрушенно разводили руками: «Мест нет», и только часа в три я решил «играть ва-банк» и зашел в самый роскошный миллионерский отель, где самый скромный номер стоит долларов пятьдесят за день.

Я переоделся в машине: натянул драные джинсы, снял ботинки, рубашку повязал узлом на животе — словом, задекорировался под миллионера, ибо только клерки сейчас носят модные костюмы и следят за тем, какого фасона у них обувь,— миллионерам это ни к чему.

Прошлепав босыми ногами по холлу, освещенному особым, интимным, невидимым светом, прошагав сквозь почтительные поклоны бесчисленных барменов, лифтеров и горничных, я сказал портье:

— Номер.

И — сунул ему смятые бумажки лир.

— Сэр, есть только один люкс, остальные номера абонированы на полгода вперед.

— Стоимость люкса?— спросил я.

— Трудные времена,— ответил бармен.— Дороговизна, инфляция, бандитизм...

— А поточнее? — спросил я.

— Из уважения к вам — всего сто долларов.

— Моя дочь и я не любим роскошествовать во время путешествий,— сказал я.— Мы любим экзотику.

И снова сунул ему лиры, которых у нас и так было в обрез, но не спать вторую ночь — дело не из приятных.

Портье среагировал правильно: он провел нас в комнату для прислуги, взял с нас двадцать долларов, оставил

ключ от туалета, что на другом этаже, и мы повалились спать, и наутро озеро Гарда не показалось нам главной достопримечательностью Северной Италии, и вода в нем была такой же, как у нас на Селигере, а может, чуть грязней, и горы были такими же, как на Северном Кавказе, только чуть поменьше, и мы сели в машину и поехали к Шекспиру, в Верону.

...Представление об известном — штука опасная. Заложенное в каждом из нас внутреннее видение того, чего мы не видели воочию, сплошь и рядом мешает понять истинную правду. Когда я первый раз попал в римский Колизей, меня потрясло обилие бездомных собак с поджатыми хвостами, которые расхаживали по каменным трибунам: историю убивают детали современного.

Уже потом только, «прокручивая» в памяти пленку виденного, я поразился тому, как люди тысячелетия назад могли р а ц и о н а л ь н о мыслить, не нарушая гармонию, то есть прекрасное: все восемьдесят выходов из Колизея точно учитывали, что 50 000 зрителей будут негодовать, если надо будет стоять в очереди — это помешает началу зрелища или смажет эффект конца: быт не вправе мешать искусству...

Потом только я подивился человеческой беспамятной дикости: империя пала, но зачем же было растаскивать Колизей по камням — сиденья ведь были уложены голубыми мраморными плитами; концентрические стены сделаны были из травертина, радиальные — из туфа... Все это было разграблено римлянами... Стоит ли мстить эпохе, разрушая творение рабочих рук?

Хотя любая эпоха истории, ощущая свою приближающуюся гибель, порождает литературу, искусство и философию ужаса и безысходности, поскольку «мембраны от политики», сиречь художники, связывают крушение того, чему они служили, с крушением мира и началом всеобщего уничтожения, с тьмой и ужасом.

...Локальность идей — вещь опасная, ибо национализм локален, ограничен, слеп. Художник, связавший себя с эпохой через посредство мадригалов, посвященных тем, кто являлся личностным выражением той или иной господствующей идеи, обычно оказывался банкротом: социализм Горького и антифашизм Хемингуэя — вечен.

...Может показаться странным, но мы ехали с Дуней в Верону и думали не столько о Шекспире и не о Ромео и Джульетте, и не о том, что увидим сейчас дом юной аристократки. Мысли наши были в Москве, в рабочих Текстильщиках, в новом, экспериментальном школьном театре Гайдара, где создано новое качество искусства лицедеев, потому что прочтение нашими мальчишками и девчонками великого англичанина ошеломило сначала Дунечку, потом моих друзей и меня, и я ездил в Дворец пионеров, где собираются пятнадцатилетние энтузиасты творчества, как на праздник. Театр Гайдара открыл новый мир, в котором идея вечная, идея любви и совести человеческой, оказалась наполненной классовым содержанием, ибо воплощение мысли гения в плоть общедоступного вовсе не есть низведение прозрения до «среднего уровня»: нет — в принципе — такого! Одетые в джинсы и кеды юные Монтекки и Капулетти из Текстильщиков не играют у Спесивцева — они живут правдой Шекспира, и горе Ромео и Джульетты становится понятным каждому, потому что их горю верят — оно чисто и попираемо моралью лжецов: те ведь обычно весьма внимательны к тому, как оформлена мораль — в ее протокольной записи.

Маленькая корона Джульетты, которую из картины в картину передают друг другу восьмиклассницы из Текстильщиков, словно передавая качество чистоты, становится символом общечеловеческим. На смену формальным поискам режиссеров приходит атака мо-

ралью — не прописной,— истинной: не декларируемой,— внутренней, измеряемой истинностью человеческого духа.

Мы ехали в Верону и очень страшились встречи с ней, потому что то и дело вспоминали Генуя.

Город этот производит странное впечатление, и только потом, постепенно начинаешь понимать, что ты прошел мимо чуда, ибо поначалу у въезда тебя окружают грязные пакгаузы, дымные заводы, мрачные склады, и все это настраивает на неверие в возможность чуда. И когда открывается истинная Генуя, центр старинной столицы великой республики, первая встреча с пригородами все равно давит на тебя, и ты проецируешь первое впечатление — на истину, и проигрываешь все, что только можно проиграть, потому что заданность первичного отношения не дала тебе увидеть и понять чудо. Не так ли мы проходим мимо любви? (Только потом, дома, я понял лишний раз высший смысл того, что вечно юно лишь то, что истинно старо: такой мне сейчас видится Генуя, такой я ее ощущаю.)

Но тогда, в то душное утро, когда над синими полями Италии собирались низкие, ватные тучи, и парило, и солнце лишь угадывалось в небе расплывчатым, желтым пятном, мы с Дунечкой боялись, что и Верона встретит нас пакгаузами, заводами, мастерскими, свалками, и это убьет встречу с гайдаровцами в Вероне, ибо они для меня стали пророками Шекспира на земле, и мы не сможем сравнить Верону Текстильщиков с Вероной Джульетты. К счастью, мы въехали в крохотный, тихий городок и остановились возле храма, и вошли в него, и ощутили прохладу, и соприкоснулись с духом прошлого: туристов еще не было, они только-только кончали свои завтраки в отелях, и мы были одни в шестнадцатом веке, и шаги наши были робкими, но отдавались под куполом гулко, и единственно это мешало

нам ощущать грозную и безответную тишину веков.

А потом мы пошли в старый город и миновали Арену, вторую по величине после римского Колизея, но только здесь, в отличие от Рима, берут деньги за вход и это вам не пятигорский «Провал», который надо ремонтировать, и Кисы Воробьянинова нет — хочешь соприкоснуться с историей, гони лиры, но соприкосновения с прошлым не получилось потому, что уже начали гудеть разноголосые гиды, выстраивая в колонны послушных американцев, пьяных скандинавов и утомленных всезнанием немцев.

Ты начинаешь чувствовать историю, лишь когда попадаешь на площадь Ёрбе: оглушает шум рынка, и торгуют там тем же, чем торговали при Ромео — помидорами, яблоками, вином, сандалиями, перцем, специями, кофе, и ты чувствуешь историю, когда приходишь на площадь Синьоров, и видишь дом, где жил Данте, и видишь его скульптуру, а потом сворачиваешь на Виа Капелло, и проходишь двадцать метров, и тебе открывается домик, и ты входишь в ворота, и проталкиваешься сквозь толпу туристов, платишь деньги, поднимаешься по деревянным скрипучим лестницам, и видишь, как заокеанские бабульки замирают на балконе Джульетты в нежных позах, примысливая себя к юной Капулетти — да, это тот самый балкон,— но право же, плохо струганная доска, на которую Спесивцев посадил свою веронку и своего Ромео, создает большее ощущение истины Шекспира, чем этот настоящий балкон, забитый потными дамами, немилосердно толкающимися, очень шумными, очень раскованными, ни черта не чувствующими, кроме того, что они «отмечаются», и будет фото, и фото это можно будет показывать друзьям и знакомым, и не станут они тихо смотреть дом Капулетти, и оставшиеся рисунки на стенах — хоть и старинные, но безвкусные, слишком с и л ь н ы е, а каким, впрочем, быть им, если

род хотел показать свою мощь: искусство служило аристократам так, как тем того хотелось...

Он очень холоден, дом Капулетти, он строг и надменен, отсюда хочется уйти, и мы с Дунечкой поняли, как хотелось уйти отсюда Джульетте, когда поднялись на верхний этаж и сквозь маленькое оконце нам открылись черепицы, которые никогда не менялись, и плиты Виа Капелло, которые помнили шаги Монтекки, и только провода портили все дело, словно бы отбрасывая нас в настоящее, в этот жаркий день, когда гиды где-то внизу читали своим туристам строки из путеводителя:

— Верона общеизвестна, потому что именно здесь разыгралась любовная история Ромео и Джульетты. Дом построен в начале тринадцатого века, с каменным, великолепным фасадом (врут: фасад как фасад — облупившийся, обычный). Вы можете полюбоваться общеизвестным балкончиком, который играет крайне важную роль в популярной «лав стори» английского литератора.

...Мы ушли отсюда торопливо, словно подгоняемые ораторским пылом гида. Лицо Дунечки сделалось обиженным, и мы пошли на Виа делле Арче Скалигере, где стоит дом Ромео, но войти туда нельзя, потому что там живут люди: окошки маленькие, занавески ситцевые, на воротах табличка, запрещающая парковать автотранспорт, и туристов здесь нет, и тихо окрест, и вдруг мы ощутили Шекспира и подумали, что это место — самое веронское во всей Вероне. Остальной город, музейный, перестает быть настоящим музеем: из-за гнета «туристской индустрии» он становится неким выставочным залом, где смотрят обязательное, где навязывают то, что считают нужным навязать, а этого делать нельзя, потому что в душе у каждого есть своя Верона, и ей верят, живут ею, о ней мечтают, и в мечтах она, право, оказывается более достоверной, чем настоящая.

...Предмет искусства — предмет особый. Воображение дано людям для того, чтобы иметь возможность воспарять над обыденностью. Театр фиксирует эту высокую данность. Ребята в Текстильщиках ощутили дух Вероны точнее, чем те, кто толкался сейчас здесь на улицах: я не убежден, что Александр Блок писал свою «Прекрасную Даму» с оригинала. Творчество освобождает; данность, наоборот, может подмять под себя, отринуть истинно прекрасное, заставить пройти мимо, а это — как предательство, потому что чудо было рядом, но ты не прикоснулся к нему, поверив очевидному больше, чем тому, что за очевидным кроется.

Неожиданная мысль рождается голой. Нужно понять ее, исследовать импульс, ее породивший, чтобы отлились те слова, которые сделают мысль достоянием других.

Был ли Шекспир в Вероне или — как гайдаровцы — ощутил ее в себе? «Ромео и Джульетта» соседствует с «Королем Лиром», который не есть еще откровение, не трагедия веры; «Двенадцатая ночь» трагична в плане личном, ибо она предшествует работе над «Гамлетом».

Шекспир нашел единственные слова, чтобы выразить свое отношение к человеку, миру, к морали. Его освистывали, ибо он входил в противоречие с канонами, но коли человек сформулировал то, что до него не было дано никому, его следует слушать: сплошь и рядом путь в знание прокладывают безумцы.

Играть Шекспира как авангардистскую драму, верить в то, что он современен, что всюду соседствует добро и зло, разум и глупость, меч и орало, быть с загадочным англичанином на равных, ибо искусство не терпит авторитарности и конформизма — именно это позволило театру Гайдара угадать Верону такой, какая она есть, когда наступает ночь, и тишина приходит в город,

и гаснут фонари на улицах (не из-за желания создать иллюзию средневековья — энергокризис!), и слышны века — в том, как налетает ветер с Альп, и как шумит вода Адидже, и как где-то во дворике скрипит ставня и слышен прерывистый шепот влюбленных...

...Большое накладывает трагический отпечаток на малое. Современное грохочет колоколами тревоги по прошлому: когда мы вышли из старого города, мимо нас промаршировали солдаты. Они вошли в ворота казармы, и дверь за ними медленно закрылась, и я увидел медную табличку: «Штаб НАТО».

«Господи,— подумал я,— но здесь-то зачем? Почему в Вероне?»

Напротив штаба стоял памятник — чудовищный в своей безвкусности: «Всем погибшим солдатам». Среди войн, когда погибли солдаты, упоминалась война Муссолини против Абиссинии и последняя, вторая мировая.

Прошлое обязано стать вечным, если это дом Капулетти.

Армия Муссолини не имеет права на монументальную память. А если кто-то хочет, чтобы эта память осталась, тогда не так уж трудно понять, кто сегодня утром спустил с рельсов поезд, который шел в Милан: фашизм начинается с того, что убивают женщин и детей — после этого значительно проще убивать отцов, которыми могут оказаться новые Матеотти и Грамши.

— Ну что,— спросил я Дунечку,— вернемся еще раз в старый город?

— Нет,— ответила она.— Лучше поедем в Текстильщики. Их Верона не хуже этой.

— Что тебе больше всего понравилось в этой?

— То, чего мы не видели.

— А чего мы не видели?

— Ночи. Когда пусто, и когда ворота дома Джульет-

ты заперты, и никто не позирует друг перед другом. Верона дана каждому,— добавила Дунечка, – только, наверное, не каждый это понимает.

...Мы бросили монеты в пересохшую реку Адидже - чтобы вернуться и походить по Вероне ночью, — сели в машину и поехали домой.

«ПАПА, ПРОСТИ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА...»

Впервые я сказал это, когда опоздал на шесть минут и держал в руках мудреные американские лекарства, которые отделяют разум от боли: человек, умирая, смеется и говорит о том, как он скоро будет смотреть мураша за городом,— большого, красного, ползущего через лесную, пахучую, игольчатую тропинку в подмосковном лесу, и как он, наконец, сядет за стол и напишет книжку о Серго, Тухачевском, Берзарине, и как он красиво издаст вместе с Еленой Сергеевной «Мастера и Маргариту», и как он поедет в Теберду, и найдет ту дорогу, по которой его вел Бетал Калмыков, и покажет мне эту маленькую, изумительной красоты дорожку, с которой виден весь Кавказ, и снежные зубчатые вершины его остались такими же, какими были тридцать лет назад, когда эскадрон моего Старика дрался с дашнаками и мусаватистами...

За шесть минут перед тем, как наш самолет приземлился в Шереметьеве, Старик спросил, каким-то чудом справившись с предсмертным беспамятством:

— Где сын?

Ему ответили:

— Он едет к тебе.

— Он прилетел? — настойчиво спросил мой Старик.— Он приземлился уже?

Ему солгали:

— Да. Приземлился.

...И было это шесть лет назад, в жаркий июньский день, и я поехал в госпиталь, но палата отца была пуста, только на подоконнике еще стояли цветы, много цветов — он рос в деревне, но цветы любил городские — красные гвоздики.

Я мог бы прийти на полчаса раньше, и его бы еще не увезли в морг, но я задержался,— по моей вине задержался,— и опоздал, и было в палате бело, и только красные гвоздики остались от отца, и запах его трубочного табака.

Отец простит, что я задержался по своей вине. Отец простил бы — так точнее. Отцы и матери всегда прощают, и не у них мы просим прощения — у себя, и никогда так остро не ощущается страшное и гулкое понятие невосполнимости, как в тот день, когда уходит твой Старик, и с годами память твоя будет все горше и объемнее рождать видения того, что было, только в этом временно́м отдалении ты увидишь не только то, что видел тогда, но ты поймешь множество вещей, ранее недоступных тебе, ибо пуповина, связывающая с жизнью новорожденного и определяющая его последнюю материальную принадлежность матери, подобна некоей пуповине смерти, когда память становится одной из формул духовной жизни, а если не происходит этого, тогда ты Иван, не помнящий родства, и плохо тебе жить на этой большой земле: нет ничего страшнее духовного сиротства.

Память об ушедших подобна черно-белому кинематографу. Ушлые торговцы искусством, кокетливо именуемые продюсерами, сейчас не берут к прокату черно-белые фильмы — они утверждают, что теперь пошел спрос на широкоформатный цвет, зритель хочет видеть истинные цвета формы хоккеистов и белизну седин Жана Габена. Однако истина конкретна, и потому, видимо, Чаплин, Эйзенштейн и Довженко работали свою правду

двухцветной: только люди, лишенные воображения и памяти, не могут понять всю объемность и глубину черного и белого, ибо в этих двух категорических цветах нет ничего отвлекающего от главного. Добро, мужество, высший смысл любви и ненависти не поддаются измерению и расчету по системе математических таблиц. Являясь человеческими качествами, они лишены внешнего (я имею в виду цвет) проявления — они подвластны иному отсчету, куда как более сложному и высокому.

Если каждый из нас закроет глаза и вспомнит лицо дорогого человека, который ушел, то увидит он не синий цвет больничной пижамы, и не желтизну кожи, и не пегие, взъерошенные брови,— он увидит своего Старика всего сразу, с большими, натруженными руками, с добрыми глазами, увеличенными толстыми стеклами очков, в которых сокрыт вопрос: «Сколько ж мне еще осталось, сынок?» — но он никогда такого вопроса не задаст, потому что родители страшатся испугать детей, даже если тем под сорок; они, старики наши, и в последние свои минуты будут успокаивать нас, и говорить нам напутствия, которым мы никогда не станем следовать,—ведь мы ж такие умные, образованные, научно-техническая революция, заряд информации и все такое прочее, мы ж в словах и терминах поднаторели... Мы, конечно, выслушаем наших Стариков, с горькой жалостью выслушаем, а они почувствуют нашу снисходительность — и ее простят, хотя нет ничего обидней сыновней снисходительности: делятся с сыном только тем, во что верят, как в истину, в главную выстраданную правду жизни.

...Неблагодарность бывает вольной и невольной. Судить о том, какая страшней — удел тех, кто уходит, и остается слишком мало минут, чтобы сказать, и это сказанное было бы Откровением, потому что, когда человек ощущает свой уход, свою долгую разлуку с теми, кто

дорог ему, он постигает всю Правду — до конца.

— Ты сегодня молодцом, Старик, — соврал я отцу после операции, зная, что его и не оперировали вовсе — поздно: разрезали и зашили.

— Да, — отвечал он мне, — через пару недель можно будет домой.

— А может, и раньше.

— Раньше-то вряд ли, — принимая мою ложь, как необходимую и жестокую игру, но зная всю правду, говорил Старик, — надо до конца подремонтироваться, надоело лежать на бюллетене, работать хочу.

— На море с тобой полетим.

— Обязательно, — он заставлял себя улыбаться, чтобы я видел, как он рад тому, что мы вместе улетим с ним к теплому морю.

— Мы ведь с тобой ни разу не были на Черном море вместе.

— Полетим в Адлер? — предлагал Старик, зная, что мы никуда не полетим.

— Лучше в Гагры.

— В Адлер мы ездили с Васей Медведевым, в тридцать пятом, на двух «фордиках». Комарья там тогда было...

— Сейчас там городище. Курортники всех комаров выкурили.

Старик доставал трубку, и она казалась крохотной в его руках, которые перед смертью стали особенно большими, и медленно набивал ее табаком, и глубоко затягивался, и только один раз не сдержался — не сумел скрыть свое з н а н и е:

— Я — единственный, кому эскулапы позволяют курить на нашем этаже смертников.

— Значит, ты выкарабкался.

— Да, — сразу же подыграл он, — это верно. Иначе они бы не позволили мне сосать люльку.

Я смотрел на то, как он жадно затягивается, и как проваливаются его щеки, и с какой тяжкой грустью провожает он взглядом синий тугой дымок, похожий на те, что тянутся из высоких труб, и начинал нести какую-то белиберду — только б не молчать, лишь бы не было тишины, а Старик очень внимательно слушал меня, и лишь когда я замолкал, кивал, а потом вдруг говорил:

— Самое страшное — это когда кричат на детей.

И становилось тихо, и я вспоминал, что отец никогда, ни разу в жизни не крикнул на меня. Он позволял спорить с ним, он терпел даже то, когда я начинал повышать голос: если не хватает логики, верх берут чувства — он обижался, затворялся в себе, но ни разу, сколько я помню его, он не смел унизить меня окриком, потому что ребенок лишен права на защиту, ибо его защита — слезы, а это — путь в трусость и бессилие.

...Я смотрел на моего Старика и вспоминал, как в сорок втором, когда я лежал с дифтеритом и в буржуйке потрескивали дрова, а отец только-только вернулся из армии генерала Говорова и привез диковинный подарок — полплитки толстого немецкого эрзац-шоколада, а я не мог его даже попробовать, потому что горло было в белых пористых нарывах, сознание вдруг стало покидать меня, и отец схватил меня на руки, и я помню, как он, побелевший, бегал по комнате, звонил в больницу, целовал мое лицо, прижимаясь сухими губами к моим, обметанным заразным жаром, а потом все исчезло, и появилось все снова через полчаса, после укола, когда кризис миновал, и я увидел лицо моего Старика в слезах, и был он моложе меня — того, который сейчас сидел рядом с ним, с умирающим — на шесть лет, но был он уже батальонным комиссаром, а в подпольный комсомол вступил тринадцатилетним — одногодком со мной, дифтеритным.

...Был он тогда молод, всего тридцать четыре, но жизнь прошел трудную, горькую, но прекрасную, и не было для меня на свете человека мудрее, сильней и прекрасней, чем папа, а потом наступила какая-то незримая грань, и все изменилось, и я с ужасом думаю сейчас, не было ли это в Покровском-Стрешневе, в маленьком двухэтажном бараке, где тогда жили дядя Сережа и тетя Шура Новиковы. Мы тогда начали бороться со Стариком — в подпольном белорусском комсомоле, когда они были под пилсудчиками, им приходилось, в целях конспирации, собираться для занятий «французской борьбой» — и впервые тогда я победил отца и положил его на обе лопатки, а он уже тогда входил в Лодзь, Бреславль и Берлин, а я, победив Старика, не смог скрыть торжества, а он не поддавался мне — он уважал борцовские качества, потому что сам был борцом — и что-то случилось в тот день глупое и недостойное, потому что я посмел ощутить себя с и л ь н е е, но я не был подготовлен к этому: мышцы набирают мощь быстрее, чем разум; мышцы — Аполлону Бельведерскому, разум — доброте...

...Я тогда хотел поступать в ГИК — все дурни моего возраста мечтают о лаврах лицедеев, а отец тактично, доказательно и дружески просил меня пойти по стопам деда, Александра Павловича, лесника.

— Получи профессию,— говорил он мне,— если есть в тебе искра, придешь в искусство. Нет ничего страшнее, чем быть приписанным к искусству — обидно это и нечестно...

Говоря так, он, верно, думал о том, что напору техники нашего века сможет противостоять лишь природа, потому что техника — одноликa в своей устремленной мощи, а каждое дерево — это поэзия; Старик, видно, хотел приблизить меня к высокой культуре природы, которая — единственно — и может открыть в человеке

Слово. Парадоксальность поколения наших отцов заключалась в том, что они, молясь и служа технике, «которая решает все», были романтиками в глубине души, а всякий романтизм произрастает особенно пышно там, где взору открыты долины, леса и снежные пики девственных гор...

...Я не послушал тогда отца, и он привел меня к Борису Сучкову, его другу, «красному профессору», недавно трагически ушедшему, и тот долго рассказывал мне о том, как работает Сергей Герасимов, и каков в искусстве Довженко, и кем был Эйзенштейн, прежде чем он стал Эйзенштейном, и я поверил Сучкову. А отцу-то ведь не поверил — я ведь поборол его в Покровском-Стрешневе, я сильный, мне восемнадцать, и ничего я не боюсь и почти все уже знаю...

...А потом, в Институте востоковедения, я выучил афганский язык, и отец горделиво просил меня писать мудреные буквы арабского алфавита и победоносно смотрел на лица своих друзей,— и я совсем уж утвердился в осознании своей силы и ума: один ли я такой?! Хорошо бы, если так... (Редко кому из наших Стариков пришлось поучиться в университетах. Институтский диплом, где каллиграфией выведена специальность,— сплошь и рядом ничто в сравнении с бездипломьем Стариков: их университеты были посуровее наших, а профессорами на их кафедрах работала жизнь, не прощавшая незнания — не то что ошибки...)

...Когда Старик ссорился с мамой, я становился на его сторону: я видел, как он работал, я понимал, чем ему это давалось, но я внутренне требовал — только сейчас я это почувствовал — благодарности за то, что стоял на его стороне, но разве ж можно требовать благодарности за то, что стоишь за справедливость?!

А он благодарил, господи, как он благодарил, отдавая

мне всего себя и все, что имел. а что он имел-то, кроме двух пиджаков и желтых ботинок на толстой каучуковой подошве?!

(Впрочем, вправе ли мы судить родителей? Вероятно — нет, особенно в том случае, если истинные их отношения неведомы нам. Но мы-то считаем, что все знаем... Нужна, видимо, такая культура человеческих о т н о ш е н и й, которая до сих пор есть идеал неосуществленный – иначе бы проблема детей в семье не составила один из главных предметов мирового искусства.

Мне было страшно читать о том, как разделились дети Льва Толстого, когда он ушел из дома. одни стояли за мать, другие за отца. Любовь к матери — особого рода, она изначальна, в ней сокрыта преемственность и общность мира, в ней всегда — огромная жалость и тоска, в то время как любовь к отцу слагается из двух векторов, один из которых — проявление отцовской гражданской значимости, а другой — осознание этого нами, детьми.

...Бывал ли мой Старик хоть раз не прав, когда ссорился с мамой? Бывал. И мне тогда было особенно горько, но я всегда вспоминал древних римлян, их литературу: те умели видеть разность труда и меру его тяжести. Мама, когда читала мне древних, учила сострадать тем, кому тяжелее,– и я сострадал отцу. Кого ж винить мне? Маму? Старика? Наверное, себя — коллективизм обязан вывести в примат ответственности не общую, л е г к у ю правду, а личную, самую тяжкую и единственно честную.

...Судью избирают. Дети становятся судьями родителей, и плохо, когда их избирают на этот пост — столь тяжкий и испепеляющий изнутри, разрывающий душу надвое: отец Лермонтова умер от разрыва сердца, когда сын предпочел ему — свою пензенскую, нежную бабушку...

Дети — это миры, и лишь немногие отцы-астрономы наблюдают небесные катастрофы и не очень часто говорят об этом людям, не желая стращать возможностью горя, всеобщего и неотвратимого... Или я молю незнания? Я слагаю с себя звание судии — нельзя делить неделимое: мы лишены права выбирать родителей, мы наделены правом понять их; стараться — во всяком случае.)

...Неужели есть некая общая закономерность, неужели все проходят одни и те же круги, неужели повторяемость — угодна разуму, а то, что должно быть нормой,— анормально?!

...А может быть, подумалось мне, границей, разбившей меня со Стариком, оказалась любовь? Ощущение счастья соседствует с проявлением силы, обращенной не только вовнутрь: рыцарство, при всей его внешней привлекательности, было рождено необходимостью самоутверждения, а это опасная штука — самоутверждение, оно необходимо и разумно в балете, цирке (особенно воздушной акробатике) и парашютном спорте. Бывает ведь, что самоутверждение идет через отрицание соседствующего, когда человек отринул гнилую доктрину зла и насилия,— он прав, при всей резкости его позиции, особенно если это приложимо к политике. Но случается ведь, что мы так же резко отрицаем близкое во имя далекого, явь во имя мечты, привычное — во имя миражного ветра дальних странствий...

Я гонялся за сюжетами, и я не умею рассказывать о том, как я за ними гонялся, я могу только писать про это, а ведь Старику было обидно, когда я молчал, курил, морщился, не зная, как рассказать.

А он, видя, как молчу я, тоже молчал и не знал, как ему быть, и заваривал мне чай, когда я приходил к нему в гости, или наливал рюмку, и угощал какой-то особенной селедкой, и смотрел, как понравилась мне

она, а я думал о том, что сегодня ночью буду писать главу, и слушал его рассеянно, когда он делился со мной тем, чем жил, и селедку я ковырял вилкой, вместо того, чтобы нахваливать ее, даже если и не нравится она мне вовсе, и позволял себе советовать ему — так, как это подчас делают взрослые дети: категорично и устало, «новое время — новые песни, мы сегодняшний день понимаем лучше вас...»

...А может, мы не прощаем отцам то, что красит жизнь, когда это случается с нами? Может, мы не можем простить им последнюю их позднюю любовь, ранимую по-детски, ибо беззащитна она? Неужели же сыновья остаются до старости теми, которые только берут — Материнскую ли грудь, Отцовскую ли руку?

...Я понял, что мне надо написать это, когда поднялся на предпоследний этаж шпрингеровского концерна в Западном Берлине, который построен на самой границе двух миров, на линии нашей Победы. Я смотрел на город, раскинувшийся внизу, на город, который так недавно называли фронтовым — даже после того, как отгремели последние залпы прошлой войны.

Я смотрел на этот громадный город, и виделось мне в туманной декабрьской дымке лицо моего Старика.

...С каждым днем их становится меньше — тех, кто сражался с фашизмом.

...Папа, прости меня, пожалуйста, если можешь.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ФИЕСТУ

Юлиан Семенович Семенов

Редактор И. В. Стабникова
Художественный редактор В. Я. Мирошниченко
Технический редактор Т. С. Маринина
Корректор Н. Д. Бучарова

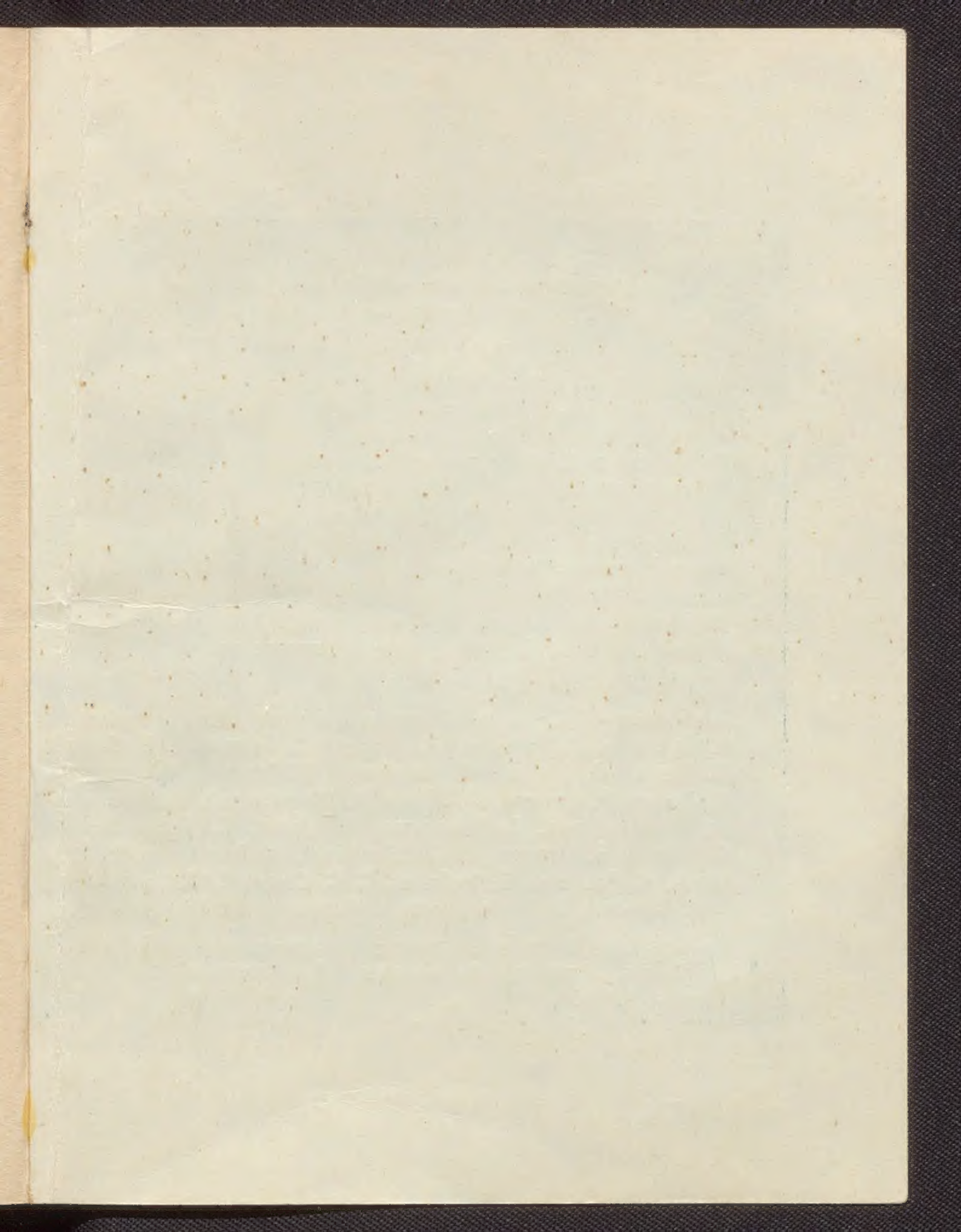
Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Север». Подп. в печать 3/IV-75 г. Формат бум. 70×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 3,0. Усл. печ. л. 4,20. Уч.-изд. л. 4,14. Изд. инд. ХД-20. А09282. Тираж 100 000 экз. Цена 13 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия».
Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ № 85.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».



13 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»